

# Иван Корнеевич Серков

## Мы — хлопцы живучие

Стригунок

Прошло всего несколько дней, как наши заняли село. Фронт еще близок. Еще тревожно на душе: ходят слухи о каких-то десантах. Вечерами, чуть стемнеет, небо на западе начинает багроветь, словно к морозу. Там фашисты жгут деревни. По ночам они еще прилетают бомбить город, и тогда из нашего окна видно, как полосуют небо ярко-голубые лучи прожектора, как пронизывают густую осеннюю темень трассирующие пули и снаряды. Огни то бегут цепочками один за другим, то рассыпаются в небе, как зерно из лукошка.

В такие ночи никто у нас не спит. Женщины-погорелки, которых приютила бабушка, шепчут молитвы, ребятишки настороженно прислушиваются к далекому грохоту. Бабушка то постоит у окна, то бежит на крыльцо послушать, не летят ли те ироды в нашу сторону, и все просит-молит бога, чтобы тот отвел от нас бомбу, перепортил «ихние ера планы».

Каждый день возвращаются наши односельчане, которых немцы, отступая, угнали на запад. Одни волокут пожитки на себе, несут на руках детей, другие впряглись всей семьей, тащат по разбитой грузовиками и танками дороге самодельные тележки. У Поликарпа с хутора каким-то чудом уцелела корова, так он обвешал ее узлами и еще сверху малыша посадил. Тот обвязан крест-накрест материнским платком, обеими руками держится за мешок и гордо посматривает по сторонам: ага, верхом еду! А мы с хлопцами стоим да посмеиваемся. Сыскался донской казак!

То на одно, то на другое пепелище приходят хозяева, роются в углях в надежде что-нибудь найти: может, какой чугунок не сгорел, может, жбан глиняный цел остался. И моя бабушка не отстает от людей, сходила на чужое пепелище и набрала чуть не полный передник горелых гвоздей.

— Живой о живом думает, — сказала она, высыпая гвозди в ящик с разными железяками, которые могли пригодиться в хозяйстве.

А я ни о чем не думаю. Мне хорошо на всем готовеньком. Гоняй себе по улице, как тот, что с цепи сорвался. Пусть бы уж мой брат Глыжка бил баклуши, это еще куда ни шло — от горшка два вершка. Ему только нынче в школу идти, если б не война. А я вон какой вымахал, тринадцать лет стукнуло, меня, бабушка говорит, вот-вот женить пора, а ума и на полногтя не нажил.

Бабушка считает, что и мой приятель Санька Маковей, сын хохлушки Марфешки, тоже не приведи бог какой ветрогон. У нас одно на уме — войско, что идет по шоссе, у нас в головах одни танки, как будто мы не насмотрелись на них за войну; сначала — на немецкие, теперь — на свои.

Тут двор весь разворочен, сени без стены стоят, а у меня руки отсохли подобрать на пожарище гвоздь и прибить хоть какой горбыль. Вот если б нам с Санькой патроны давали — мы бы их, верно, с хлебом ели.

Здесь бабушка, как обычно, должна была добавить, что не выйдет из меня человека, но не успела — под окном свистнул Санька.

— Иван! Айда самолет немецкий смотреть! Ночью сбили!

Бабушка так и схватилась за сердце. Еще бы: Санька — лучший свистун на нашей улице. Сунет четыре пальца в рот да как свиснет — мертвый подскочит. А воробьи места себе на вербах не находят.

— Чтоб тебе промеж ушей свистнуло, идол рогатый! — разразилась бабушка, а я тем временем шмыгнул на улицу. Когда самолет немецкий упал, где уж тут думать о каких-то гвоздях и горбылях, о развороченной стене сеней и незасыпанной завалинке! Пусть себе старая как хочет злится, а бежать надо. Не побежишь — хлопцы там и без тебя поотвинчивают и разберут все самое лучшее, а ты ни с чем останешься.

— Скорей! — нетерпеливо махнул рукой мой приятель и уже на ходу с завистью сказал: — Васька Мамуля нашел там что-то такое, вроде часов. Со стрелками!

Нам в лица бьет студеный ветер со снежной крупой, из-под ног летят брызги: на дороге большие лужи — не каждую перепрыгнешь. Да если бы с неба сыпались камни, и это бы нас не остановило. Не каждый день падают за нашим селом немецкие самолеты.

Самолет упал далеко, за Лисьими рвами, в лозе. Если идти по улице, сделаешь крюк чуть ли не до хаты безногого Тимоха, а там еще лугом километра три с гаком. Но теперь такие хлопцы, как мы, по улице не ходят. Где гуляет вольный ветер, там и нам дорога. Ни плетней тебе, ни изгородей, ни заборов с воротами. Стоит добежать до Миронова пепелища, потом по двору, от которого осталось одно обгорелое шуло, шмыгнуть в сад, перепрыгнуть через подрезанную снарядом грушу-спасовку — и ты на Малаховом огороде.

Тут немцы выкопали глубокий блиндаж. Из Малаховой хаты они сделали стены и накат, а смородину пересадили на насыпь для маскировки. Из-под наката выведена жестяная труба, из которой валит сизый дым и летят искры.

Хотели мы с Санькой заглянуть в амбразуру — кто там поселился? — но ничего не увидели: в узкой нише — оконце из кусков закопченного стекла и висит что-то похожее на занавеску.

За огородами, в траншеях, уйма стреляных немецких гильз — больших и поменьше, в лентах и россыпью, винтовочных и ракетных. Но на гильзы нам теперь и глядеть неохота. Подумаешь, невидаль! Да их, если надо, полный мешок можно насобирать.

А вот разноцветные телефонные провода — это вещь.

Из них получают отличные бусы. Многие девчата такие носят. Жаль, времени в обрез, а то и мы с Санькой искали бы проводов и понаделали бус всем-всем: и моей бабушке, и Санькиной матери, и тетке Марине...

На глаза попалась немецкая каска. Санька ловко поддел ее ногой. Каска с лязгом покатила с горы в торфяной карьер, а мы побежали дальше.

Найти самолет оказалось не так-то просто. Лозняк за Лисьими рвами — ни конца ни краю. Можно целый день ходить и ничего не выходить. А тут еще осока, кочкарник, болото. Болото знаменитое — Моховое. Все наши Подлюбичи драли тут мох на хаты, нигде его столько не было.

Не проходило лета, чтобы в Моховом не увязла лошадь. Бегут тогда мужики по улице — кто с веревкой, кто с рушником, кто с лопатой. Как на пожар.

Когда был поменьше, я верил, что в Моховом живут черти. Бабушка говорила. Спросишь, бывало:

— Баб, куда ты?

А она:

— В Моховое чертей дразнить.

Вот и попробуй тут отыскать самолет. Сунулись мы в одну сторону — топь, ткнулись в другую — ходят под ногами кочки. Остается только в обход. По Сухой гриве.

Но и на Сухой гриве не так уж сухо, чтобы колобком катиться. Санька не рассчитал, прыгая с кочки на кочку, и набрал полные бурки ржавой холодной воды. Пришлось разуваться и выкручивать портянки.

— Ничего, согреюсь, — подбодрил он себя, мелко лязгая зубами.

Неожиданно в кустах мы натолкнулись на лозовый шалаш, крытый осокой. Перед ним — небольшая кучка углей, черные головешки, картофельная шелуха. Заглянули внутрь — влажное, примятое сено. Видно, здесь жили не день и не два. Может, даже мой дед Николай. Он рассказывал, что пересидел в Моховом всю пальбу, пока наши не пришли. И не один он здесь был: полнехонькое болото и своих, и из других сел. Всего за один день до прихода наших их обнаружили немцы. Правда, сами они, не зная дороги, лезть в болото побоялись, зато открыли такой огонь, что земля стонала. Повезло деду, что неподалеку воронка от бомбы была. Он прямо туда — в грязное, ледяное месиво. Теперь так кашляет — жуть берет. Но ничего, говорит: «Если не помру — жив буду».

Чем глубже мы с Санькой забираемся в Моховое, тем чаще нам попадаются такие шалаши: то крытые осокой, то просто из лозовых веток, то большие, то еле-еле одному поместиться. А сбитого нынешней ночью немецкого самолета нигде не видать.

— Ничего! Найдем! — не падает духом Санька. А сам синий, и зуб на зуб не попадает.

— Не мог спросить у Мамули! — злюсь я. — Может, он и не здесь вовсе.

Наконец мы выбрались на сухое. Кусты поредели, время от времени начали попадаться почерневшие от дождей копны сена. Значит, мы уж точно на Сухой гриве. Идти стало веселее, и Санька попробовал даже насвистывать какой-то марш. Но ничего у него не вышло губы не слушались от холода.

И вдруг мы остановились как вкопанные. Перед нами — опрокинутая взрывом, разбитая телега. В поломанных оглоблях лежит с оскаленными зубами мертвая лошадь. Почти рядом — глубокая воронка. И вся трава вокруг густо усеяна торфяной крошкой.

— Бомба? — спросил Санька.

— Кто его знает, — пожал я плечами. — Мог быть и снаряд.

В Подлюбичах мы знаем каждую лошадь. Можем издали угадать, то ли это «кувалда», которую Чмышиха-монашка выменяла у итальянцев на икону богородицы, то ли старая Слепка деда Коврача. А тут смотрели-смотрели и не узнали. Не наша лошадь, не подлюбичская.

А чуть поодаль, возле покосившегося небольшого стожка, стоит вторая лошадь, живая, и скубет сено.

— Глянь, — не поверил я своим глазам. — Что это?

Пригляделись лучше — и вовсе это не лошадь. Жеребенок, не старше года. Вороной масти. На лбу белая звездочка. Лохматый, худой. В хвосте и гриве полно колючек.

Жеребенок тоже нас заметил, насторожился, задрал голову, наставил уши.

— Это, видно, мать его, — кивнул Санька в сторону опрокинутой телеги. — Вот он тут и кружит, не уходит.

— А где же люди? — спросил я и тут же понял, что ляпнул глупость. Мало ли где. Может, к немцам в лапы попали. А может, спасаясь, бросили воз и убежали. А то, может быть, кобыла, испугавшись стрельбы, понесла, не разбирая дороги, пока не нашла свою погибель. Как бы там ни было, жеребенок теперь ничейный, и его нужно поймать.

— Кось-козь-козь!

Мы сняли шапки и, держа их в вытянутых руках, стали приближаться к жеребенку. Так я всегда ловил дедушкиного Серого. Серый знал, что в шапке у меня морковка, картофеля или еще какое-нибудь лакомство, и охотно шел навстречу. Здесь же так не получилось. Жеребенок недоверчиво покосил глазом на меня, потом на Саньку и пустился наутек.

При всей своей худобе он оказался довольно резвым. Вроде и некуда было бежать: перед ним — топь, позади мы с Санькой. Но он повернул назад и, хлюпая копытцами по грязи, проскочил у меня под самым носом, Санька бросился было наперерез, хотел схватить его за гриву, да не успел.

— Одичал он, что ли? — пожал плечами мой приятель.

Долго мы гонялись за жеребенком, а он все не давался в руки. Уже готовы были плюнуть и идти дальше искать фашистский самолет. Пусть мерзнет тут,

раз он такой. Но подумаем, подумаем — и жалко. Пропадет. Волки загрызут или в болоте утонет.

Наконец, подкравшись из-за куста, Санька вцепился-таки в короткую гриву, и жеребенок сдался. То ли от усталости, то ли от страха он весь дрожал. Поднимешь руку, чтобы погладить по шее, — испуганно вскидывает голову. Не бойся, дурашка, мы хлопцы добрые! Мы тебя не обидим, в хлевушок доставим, дадим сена. Еще спасибо скажешь.

Мы надели ему на шею ремешок от моих штанов и повели в село. Сперва жеребенок шел послушно и лишь в конце Сухой гривы вдруг встрепенулся, едва не вырвался из рук и заржал — тонко, протяжно. У меня аж сердце зашлось.

— Это он по матери, — сказал Санька и вздохнул. — Прощается.

Ничего, братец, теперь не поделаешь. Привыкай. Не маленький. А мать забудь. Не встать ей из тех оглобель.

Так мы и идем домой втроем: я, жеребенок и Санька. Саньке хорошо: в одной руке ремень, а другой размахивай себе как угодно. Мне хуже — нужно придерживать неподпоясанные штаны.

Мы идем с Санькой и мечтаем. Вот вырастет наш жеребенок, станет красивым и статным скакуном. Такой был у нас в колхозе до войны. Звали его, кажется, Буяном. Помню, как хлопцы-допризывники выводили скакуна на луг и гарцевали на нем по очереди. Вдоль дороги они втыкали в землю длинные лозины и потом рубили их саблей. Долгогривый Буян летал, как птица. Таким будет и наш жеребенок. Только нужно колючки повыдирать из гривы.

Мы ведем его по изрытым траншеями огородам, мимо немецких блиндажей, ведем по улице вдоль пепелищ.

И кого ни встретим, каждый удивленно провожает нас глазами. А нас распирает от радости. Вспомнилась бабушкина присказка: «Кто там идет?» — «Солдат коня ведет».

Наш «конь» испуганно косится на высокие задымленные трубы, что стоят на черных пепелищах, настороженно прядет ушами, раздувает ноздри. Воздух в селе пахнет влажной золой.

Когда проходили двор Мирона, жеребенок чуть было не вырвался. Неожиданно увидел совсем рядом черное шуло и шарахнулся в сторону. Я не

знал, за что мне хвататься, за гриву или за штаны. Ладно хоть Санька не растерялся, повис у него на шее.

И еще хорошо, что Санька после долгих споров все-таки согласился вести жеребенка к нам. А то досталось бы мне дома от бабушки на орехи. «Ну как, — спросила бы она, — накормили тебя возле твоего самолета?» А так не успела спросить, потому что я прямо с порога похвастался:

— Баб, коня привел.

— А вола ты не привел? — не поверила она, но все же выглянула в окно. И все, кто был в хате — свои и погорельцы, взрослые и дети, — прилипли к стеклам.

— Гля, и правда! Конь!

— Как из плена, бедняжка, — вздохнула бабушка. — И чем же его кормить?

Дед Николай тоже пришел посмотреть на нашего с Санькой коня. Покрутил свои седые усы, потоптался, погладил жеребенка по спине и сказал:

— Стригунок еще. Если хозяева не найдутся, пусть растет.

Наши планы относительно будущего стригунка деду не понравились.

— Еще чего выдумаете, — ворчал он, выдирая из гривы колючки репейника. — Скакун! Не скакун, а кормилец будет. Попадет в хорошие руки — покормит людей хлебом. А вы что за хозяева? Охламоны вы. Дай вам волю — замучите.

Мы обиженно молчим. И как тут не обидеться, охламон — это человек, у которого в голове ветергуляет. А мы разве такие? И неизвестно еще, кто скорей замучит. Мы его жалеть будем. На улице холодно, так я его накрою на ночь старой постилкой.

— На печь его с собой возьми, — подала совет бабушка. — А не то штаны свои отдай, пускай носит. Ишь ты его! Постилку увидел. Больше ничего твоя голова не придумает?

Но мы хлопцы упрямые. Не постилку, так мешок у бабушки стащили. А назавтра утром, когда выпустили стригунка из хлева поразмяться, стали его приучать к боевому имени.

— Буян! Буянчик! — кричим мы с Санькой наперебой.

Стригунок стоит посреди двора, взлохмаченный, кожа да кости, голову опустил понуро, свесил нижнюю губу, а в нашу сторону и ухом не ведет.

Если хочешь вырастить своего коня, нужно набраться терпения.

Правильное имя — Иван

Спустя неделю-другую после того, как мы с Санькой привели стригунка, фронт стал утихать. Только по ночам еще гудят самолеты и где-то далеко-далеко тяжело ухают бомбы. Наш колченогий сосед Захар Малявка или, как его все зовут, дядька Скок, говорит, что фронт остановился на Днестре и, верно, будет там зимовать. А дядьке Скоку можно верить, ум у него мужской. Кабы такой ум нашей бабушке, она б и беды не знала, быстро бы нашла на нас с Глыжкой управу.

И не так по Глыжке, как по мне плачет отцовский ремень. День-деньской я пропадаю на лугу за нашим огородом, где расположилась зенитная батарея. Сначала мы с Санькой помогали девушкам-зенитчицам рыть окопы, а потом закатывать в них пушки. Мы думали, что за это нам дадут хоть по разу выстрелить. Вот бы здорово было! Все бы хлопцы от зависти лопнули. Но девушки — народ несерьезный, чуть тревога — вытурили нас с батареи как миленьких.

— Вот и правильно, — похвалила зенитчиц бабушка. — А то я уж думала, что вы там нанялись или, может, присушила какая-нибудь.

Часто на ночлег в нашей хате останавливаются солдаты. Одни с фронта идут, другие — на фронт. На железной печурке они заваривают чай, готовят из концентратов суп или разогревают мясную тушенку — что у кого найдется. Иногда и нам с Глыжкой перепадает то сухарь, то ломоть хлеба с маргарином, то кусок чумазого, вываленного в кармане или в вещмешке сахару-рафинада, который всегда пахнет табаком. Чаще всего везет Глыжке и малышам нашей соседки тетки Феклы. А я уж как им глянусь: хлопец ладный, могу и обойтись.

Пужинав, солдаты развешивают вокруг печки мокрые портянки и вповалку укадываются спать на полу. При этом: частенько шутят:

— Солдат, что под бок положил?

— Шинель.

— А что под голову?



— Шинель.

— А чем укрылся?

— Шинелью, тетка.

— Так сколько же у тебя шинелей, сынок?

Мы с Глыжкой только посмеиваемся — до чего же темная та тетка, не знает, что у солдата всего одна шинель. А бабушка понимает их по-своему.

Она вносит в хату несколько снопов соломы и забирает у нас с Глыжкой постилку. На печи и так черти не возьмут.

Солдаты бывают разные. Один не успеет толком улечься — и уже спит, а другой все ворочается с боку на бок, курит, вздыхает. Я больше люблю тех, кто долго не может уснуть. Тут только сам не спи — обязательно услышишь интересную бывальщину. Из солдатских разговоров я все-все знаю про войну; как оно было в обороне и как в наступлении, каково это идти в атаку и о чем думает солдат, если его заденет пуля. Знаю, как окружили немцев под Сталинградом и куда нужно целиться, если на тебя идет фашистский танк — «тигр», Я столько всего знаю, что бабушка прямо диву дается, почему это меня еще на машине не возят. Ведь все умники ездят, только дураки пешком ходят.

Много у нас побывало солдат, но больше всех пришелся нам по душе сержант-танкист.

Было еще светло. Еще и Санька не собирался домой, хотя бабушке моей и хотелось, чтобы он сгинул с глаз: ей и без Саньки за день голову заморочили. И тут они входят, сержант и двое рядовых.

— Можно переночевать, хозяйюшка? — спрашивают, поздоровавшись.

— Ночуйте, люди добрые, — отвечает бабушка. — Ночуйте. Только тесно у нас. И перин нету.

Мы с Санькой глаз не сводим с сержанта. Сам высокий, русый, а на подбородке и на щеке кожа красная-красная. И блестящая. Такое лицо и такие руки у одного нашего подлюбичского дядьки. По-уличному зовут того дядьку Горелым. Когда-то, в молодости еще, он на пожаре людское добро спасал. А чтобы догадаться, где горел сержант, не нужно быть большим умником: у него на погонах маленькие танки.

Когда военные поставили в угол карабины и сняли шинели, мы с Санькой переглянулись. У сержанта вся грудь в медалях. Так и звенят, когда он ходит по хате.

Нам сержант очень понравился, а мы ему, видно, еще больше.

— Ну, как, хлопцы, воюете? — поинтересовался он, подсаживаясь к нам. — А?

— Да воюют антихристы, — ответила за нас бабушка. — Отцов дома нет, на войне, им и вольготно. Я тут одна вот с этими, — показала она на нас с Глыжкой. Потом кивнула на Саньку: — А у этого мать есть, так ему и мать не указ.

Сержант, видно, дяденька свойский. Бабушке он покивал сочувственно, а когда она отвернулась, подмигнул нам одним глазом. И мы поняли, что он за нас, только с бабушкой отношений портить не хочет, потому, видно, и речь такую завел:

— Не по-гвардейски у вас, хлопцы, выходит, коли так. Выходит, хлопцы, что вы своему командованию не подчиняетесь. Ну, не думал, не думал.

Тут даже чумазый Глыжка заулыбался. Наша бабушка — командование! Генерал в латаной юбке и замусоленном фартуке. А нос в саже. Бралась руками за чугунок, а потом — за нос.

И опять за свое.

— Поучи их, поучи, человече, — попросила бабушка сержанта. Она очень любит, когда солдаты учат нас хорошему, и всегда их просит об этом. А дурному, как она полагает, мы и сами научимся.

— Разберемся, — пообещал сержант, стаскивая с ног сапоги, и снова по-приятельски подмигнул нам. На гимнастерке у него несколько красных нашивок. Мы первый раз такие видим. Верно, это за подбитые танки. Сколько танков — столько и нашивок.

— Нет, хлопцы, — покачал головой сержант, — не угадали. Это за ранения.

Мы с Санькой пересчитали нашивки и переглянулись. Шесть штук. Ну и народ же у нас! Живучий народ. Места на человеке живого нет, и хоть бы что.

Меня так и подмывало узнать, только ли военным дают такие нашивки, или могут и Саньке дать. Не выдержал — спросил.

Сержант недоверчиво поглядел на моего приятеля.

— А ему за что?

Как это — за что? Можем показать.

Санька охотно задрал рубашку, и солдаты долго и уважительно разглядывали его худую, с выпирающими лопатками спину, на которой можно было пересчитать все ребра и позвонки. Синевато-белая кожа расписана багровыми рубцами.

— Это у него пистолет на спине, — разъяснила солдатам бабушка, но те ничего не поняли, и пришлось вмешаться мне.

Конечно, никакого пистолета у Саньки на спине нет. Это немцы его так били. Мы собирались идти в партизаны, нашли три гранаты, а пистолетов нигде найти не могли. Тогда Санька украл пистолет у офицера, жившего в их хате. А его поймали.

— Одним словом, наделал беды. И себе, и матери, — перебила меня бабушка. — Та прямо поседела вся, бедная. Партизаны нашлись!

Но это обидное замечание не поколебало Санькиного авторитета, выросшего прямо на глазах. Сержант еще раз глянул на его худую спину и серьезно сказал:

— А нашивку могут дать... Боевые раны, — и подумав немного, добавил: — Э-э, да чёго тут ждять долго! Назаренко у тебя там найдется что-нибудь красное?

Тот, кого называли Назаренко, уже немолодой и, видно, хозяйственный дядька, стал рыться в своём вещевом мешке, перекладывая с места мыло, дратву, новую пару портянок... Отыскался там и лоскут красной материи. Назаренко сам отрезал от него узкую полоску и у нас на глазах сделал нашивку — точь-в-точь как у сержанта.

Санька смутился, покраснел и начал отнекиваться — зачем, мол, не нужно ему, — но когда солдат поманил его пальцем, все-таки подошел.

— Ну вот... Видал, как хорошо! — сказал сержант, когда Назаренко перекусил нитку и повернул Саньку лицом к нам.

А бабушка о своем:

— Дорогая вещь. По нынешним временам цены ей нет, — и тяжело вздохнула.

Бабушка смотрела не на нашивку, а на иголку, которую солдат собирался воткнуть себе в шапку. И воткнул бы, и спрятал бы, если б она не вздохнула еще раз. Не вздохнула, а почти простонала. И иголка с защитного цвета солдатской ниткой очутилась у бабушки в руках.

— Бери, хозяйюшка, пользуйся, — великодушно махнул рукой Назаренко. Бабушка так и просияла.

Теперь всем хорошо: у Саньки — нашивка, у бабушки — иголка. Только мне досадно — никому до меня дела нет. Санькина доблесть всех словно ослепила.

Лишь когда Назаренко уселся на свое место возле печки, сержант обратил внимание и на меня.

— А тебя как звать?

— Иван.

— Молодчина, — одобрительно сказал сержант, будто это я сам себя окрестил. — Правильное имя. Иван — это Иван. Сила!

И хоть такая похвала — не красная нашивка, у меня немного отлегло на душе. А когда пошли разные истории — и по давню. Из тех историй, что рассказывали солдаты, перебивая друг дружку, выходило, что куда ни кинь — Иван и выносливей, и трудолюбивей, и хитрее, и умнее фрица. И живучести ему не занимать. Его только в злость ввести трудно, потому что он добр душою, но если уж разозлится — берегись. Так даст, что и не унесешь.

Солдата, который сделал Саньке нашивку за ранение, зовут Василием. Второго, низенького, похожего на татарина, — Юсупом. Но оба они говорят так, будто они тоже Ивановы. А мне и примазываться не нужно: я в самом деле Иван! Разве не про меня сказано, я ведь и хитрый, и не дурак, и живучий — ого! Да и Санька живучий. Бабушка говорит — что кошка.

Наша бабушка — солдат и доктор

Где и кто теперь живет — не понять. Пойдешь к дядьке Скоку взять угольев на растопку, а там у него и Пеюны, и Нетыльки, и Кожухи — пол-улицы. Одни завтракают, а другие ждут, когда стол освободится.

У нас живет соседка — старая Мирониха, вторая соседка — тетка Фекла с детьми, или, как она говорит, с оравой. И старосельская одна семья попросилась. И не свои, а не могла бабушка отказать. Если б еще не на зиму глядя...

И так оно сообща все ладно выходит, что бабушка только диву дается. Станет, например, из бульбы-гнилушки «лапоники» расчинять, а закваски нет.

— Ховра, дай закваски.

И старосельская Ховра даст.

А там, глядишь, соль подчистую вышла. Тетка Фекла помнется-помнется и скажет:

— Возьми вот щепотку, посоли.

А у бабушки щепотка такая: если Феклиной солью посолит — воды обопьешься, если своей — преснятина, дальше некуда.

Да оно и веселее, и теплее скопом. Как надышим за ночь, так бабушка утром даже дверь открывает, чтоб свежего воздуха пустить.

И что главное — позабыли бабы, чьи куры на чьи грядки ходили, кто кому теленка сглазил. Если не поделят, бывает, самое горячее место в печи, так бабушка возьмет кочергу, жару под чугуны подгребет — и тихо. Все сварится, все упрет.

Как-то у женщин зашел разговор, отчего это они стали такими добрыми, и бабушка им сказала:

— Тю-ю! О чем вспомнили: куры-хворобуры, грядки-хворобятки. Это ведь где добро люди делят — там и свара. А тут беда. Ее на всех хватит. И ничего не поделаешь. Всяк живет, как бог пошлет.

Нам еще хорошо: мы сидим в хате. А тем, что в немецких блиндажах? Правда, тем, кто повыше, на горе, жить можно. А те, кто ближе к болоту, каждое утро таскают ведрами воду, что собирается за ночь на земляном полу, и клянут немцев на чем свет стоит. Нашли, окаянные, где блиндажи рыть!

Отцову дядьке, деду Николаю, еще повезло. Хоть у нас в хате места ему и не нашлось — не успел, зато у него огород высокий и в блиндаже сухо. Мы с

Санькой помогли ему сложить печь, и теперь дед в ус не дует: рубит вербы и греется.

А на дворе ни осень, ни зима. То моросит холодный, мелкий, точно мак, дождь, то летают белые мухи, то барабанит по стеклам снежная крупа, то снова идет дождь.

— Не погода, а самая что ни есть хвороба, — вздыхает бабушка. — И как только те солдаты в окопах сидят?

И верно, мы с Глыжкой кашляем и перхаем на разные голоса: Глыжка — тонко, залиvisto, как свисток, а я — глухим басом, словно в бочку. У меня кашель нутряной.

— Ну-ну! — подбадривает нас бабушка. — Больше, бесенята, расхлистанные бегайте, еще и не то будет. Немцев пережили, так кашель нутро отобьет. Это ж надо — ни дать ни взять как собаки гавкают.

Сама бабушка никогда нараспашку не бегают. Нашла где-то старый немецкий френч и хотела, чтобы я его носил. Да не на того напала — никакие уговоры не помогли. Чтобы хлопцы Адольфом обзывали?

— Беды бы мне больше не было, — сказала бабушка. Укоротила у френча рукава и теперь не снимает его с утра до позднего вечера.

Она очень смешная в своей военной одежине. Полы френча свисают до самых колен, вырез ворота широченный.

— Баб, каску тебе дать?

— А шли бы вы свиной пасти, мои внуки!

Если же бабушка вдобавок к «хренчу» еще накинет на голову и драный, неопределенного цвета платок, мы и вовсе помираем со смеху.

— Гляди-тка, шалдат! — показывает пальцем Глыжка.

Бабушка обиженно поджимает губы, и тогда ее подбородок едва не касается крючковатого носа. А щеки западают глубоко-глубоко: у нее не осталось уже и тех зубов, что были до войны. Она огорченно трясет головой: ну что с него взять, с этого сопляка бесштанного? А на меня ее добрые глаза глядят с укором. Мне бы уже пора обзавестись кое-каким умишком.

Чтобы показать, что наши шуточки ей ни шли, ни ехали, бабушка небрежно отмахивается от нас и с чувством собственного достоинства замечает:

— Глазу некрасиво, зато душе радостно.

Мне уже неловко, а Глыжка не унимается. В посконных латанных-перелатанных штанишках на одной шлейке он гарцует по краю печи и заходится от смеха:

— Гы-гы-ы, влашовец!

Ну, это уже черт знает что! Тут даже я цыкнул на братишку, чтоб он прикусил язык. А у бабушки враз руки опустились. Хотела фартук повязать и не смогла. От обиды у нее задрожали губы, но голос... Голос стал таким ласковым, таким нежным, словно ее невесть как обрадовало новое прозвище.

— Вот спасибо тебе, внучек мой дороженький, вот и дождалась я, соколик мой, от тебя ласки... — А сама, поправляя на ходу старый, разлезшийся веник, идет мимо печи в передний угол — собирается мести пол. — Я уж думала, мое солнышко, что помру и доброго слова от тебя не услышу.

Глыжка даже растерялся: то на меня глянет, то на бабушку и никак не может взять в толк, что это она так мягко стелет. Может, лапоника из бульбы сейчас даст? А когда увидел, что лапоником тут и не пахнет, уже было поздно: веник раз и другой прошелся по его штанишкам.

— Вот тебе солдат! Вот тебе власовец!

Третий удар достался печи: «соколик» уже сидел за трубой.

— Вот придет отец с войны, он тебе собьет рога, идол! — пригрозила напоследок бабушка. Глыжка из-за трубы ответил ей долгим залиvistым кашлем. Снизу его поддержал я:

— Кхы-кхы-кхы!

Фельдшера в деревне нет, и лечить нас некому. Фельдшера расстреляли немцы еще в сорок первом вместе с ополченцами. За шептухой идти далеко, да она и не станет лечить даром. И бабушка лечит нас сама.

Когда у нее отлегло от сердца, она внесла из сеней целый подол сушеной череды, запихала ее в щербатый чугунок, залила водой и чугунок поставила в печь.

Отвар череды, по ее мнению, — первейшее средство от кашля. Никакие доктора и никакие фельдшера так тебе не помогут, как этот самый отвар.

Я не хотел лечиться и начал одеваться.

— Ты это куда? — встала на пороге бабушка.

— Буянчику сена подброшу.

— Садись. Без тебя задала. Хозяин нашелся.

Бабушка наизусть знает наши уловки. Мы с Глыжкой куда там какие ассесоры. Перед нами надо шапку снимать, чтобы пили такое хорошее и полезное лекарство.

А оно уже стоит на столе и исходит густым паром, и Глыжку почтительно приглашают спуститься с печи:

— Слазь, кашлюн!

Заодно и тетка Фекла скликает свою ораву: Костика, Мишу, Катю и Маньку.

Глыжка, чтобы не пить отвара, находит сто отговорок: то ему горячо, то ему много, то у него уже и кашель прошел, то у него живот заболел. Ничего — череда и от живота помогает. У бабушки не выкрутишься. Она стоит над душой и провожает взглядом каждый глоток. Мы морщимся от горечи, а бабушка знай удивляется:

— Неужто не сладко?

Чтобы подать нам пример, она и сама, хоть и не мается кашлем, выпивает ковшик-другой горького варева да еще и причмокивает языком, будто это ей мед.

— Пейте, пейте, не дурите — все как рукой снимет.

Вчера танкисты угостили нас сахаром, и мы недолго думая его сгрызли. Нам кажется, что последний день живем на свете. А вот если б послушались бабушку, подумали про завтрашний день, теперь бы не морщились.

«Спеванино»



Санька так осточертел моей бабушке, что она готова от него в белый свет податься. Не успеем позавтракать — он уже свистит под окнами. А потом, если я долго не выхожу, и сам появляется на пороге:

— Здравствуйте.

А бабушка ему:

— Ближе, рыжий, — хлеба дам, а ты, черный, постой там. Давно не видались.

Санька не обижается: он ко всему привык.

Сегодня мой приятель пришел раньше обычного и — это видно еще с порога — с какой-то новостью. Заговорщицки щуря глаз, он отозвал меня за печь, и мы там самую малость пошептались. Так и есть: Санька нашел нечто невиданное. Оно — черное, блестящее и играет. На Брыдкином огороде за свиным хлевом стоит.

Последнее время мне уйти из дому — раз плюнуть. Стригунок выручает. Привести-то мы его привели, а сена кот наплакал. Вот бабушка и гоняет меня с мешком на луг к стогам. А пока дойдет дело до тех стогов — все село обежишь.

Я захватил мешок, и мы подались на Брыдкин огород, но на полпути задержались посмотреть, как буксуют военные грузовики. Где-то там, возле леса, через Сож наведена переправа, и от той переправы по лугу, мимо городища, а потом нашим селом идут и идут тяжелогруженные машины, с пушками на прицепе и без пушек.

Попадаются и конные повозки. Лошади аж надрываются в постромах: дорогу машины измесили в тесто. Её можно перейти только утром, когда морозец покроет лужи скрипучим ледком, а грязь смерзнется в комья.

Самая большая лужа возле дома дядьки Скока. Шоферы переезжают ее с опаской, высовываются из кабин, чтобы заглянуть под колеса. Машины ревут на полном газу, лязгают цепями, намотанными на колеса, погружаются в воду по самые оси, и кажется, что они не едут, а плывут. Из-под радиаторов разбегаются в стороны густые волны грязного месива из воды и льда.

Мы с Санькой стоим и радуемся: вона сколько у наших машин, сколько всего-всякого! Правда, того танка, о котором при немцах рассказывал Бусликов Костик, танка, у которого внутри спрятано штук десять танкеток, мы пока еще не видели. Так по нашей дороге он, может, и не пройдет, завязнет, а то и

совсем провалится под землю. Запросто, ведь он поди добрую тысячу тонн весит.

Мы стоим и всматриваемся в лица солдат: может, моего или Санькиного отца увидим, может — комиссара, которого прятал от немцев покойный дед Мирон. Все может быть.

А солдаты на нас глядят. И не столько, видно, на нас, сколько на Санькину шапку. Местами прожженная у костров, местами подранная и по швам, и по живому, выглядит она живописно — будто стог, растрепанный бурей. Этот стог все время лезет Саньке на глаза, а тот беспрерывно сдвигает его на затылке. И все это потому, что мать остригла Саньку и отцовская ушанка, которая была ему просто великовата, стала по-настоящему велика. Известное дело, он не хотел стричься, долго отбрыкивался и упирался. Тогда тетка Марфешка обозлилась и — чик-чик его, как овечку. Теперь голова у него в полосы — где голо, а где и торчит пучок.

На том берегу лужи, под вербами, стоит наш сосед дядька Скок в старом рыжем полушубке, который они носят с Поскочихой и со скоченятами по очереди. Полушубок дядьке короток и тесен, под мышками он разошелся по швам, и сквозь прорехи торчат клочья серой шерсти. За войну сосед совсем сдал. По щекам сверху вниз пролегли глубокие борозды, в небритой бороде светятся белые волосья. Правда, Скок не признает седины. Если его послушать, то выходит, что он просто масть сменил: был вороной, а стал гнедой.

На днях дядьку поставили председателем сельсовета, и моя бабушка говорит, что теперь к нему на неподмазанной бричке и не подъедешь, а носа и черенком от грабель не достанешь — так задерет. И не столько сам Скок, сколько Поскочиха. Вчера приходила к нам просить решето, так нахвалиться не могла: «Мой хозяин... мой хозяин». Вроде ему уже и цены нет.

Но мы с Санькой не привыкли еще к тому, что Скок — высокое начальство, и подъехали к нему без брички — просто обошли лужу и поздоровались.

— Добрый день.

— Здравствуйте, коли не шутите, — ответил он просто и запрыгал на месте, ударяя от холода ногой об ногу. Потом, когда ему надоело выплясывать, он поднял от ветра воротник и довольно доброжелательно разъяснил нам, что не всё коту масленица, а нам с Санькой — райская жизнь. Если нас не посадить за книги — вырастем пни пнями. И что напрасно мы думаем, будто он тут ворон ловит, как некоторые зеваки, — он ловит машину, чтобы привезти

бревенно-другое с разрушенного бомбой Афонькиного гумна, пока их не растащили на дрова. Надо же хоть старую школу, бывшую волостную управу, как-нибудь подлатать. Так дядьке Скоку приказано. Кем приказано, сосед не сказал. Но мы и сами догадались, тем начальством, что еще повыше его.

И стоит полуторке или «студебеккеру» притормозить перед лужей, как дядька Скок резво ковыляет к кабине и принимается гудеть, как в дуду:

— Товарищ командир, а товарищ командир! Тут бы пару палок привезти, мой голубь. На две минуты страху.

Командирами он величает всех подряд, не смотрит, есть там что на погонах или нет ничего. Мы с Санькой посмеиваемся: председатель сельсовета — и не может отличить командира от рядового. А он на нас посматривает с сожалением: большие выросли, а ума не вынесли. Много мы, олухи, понимаем — это же для политики.

Однако и «политика» Скоку не помогает. Какие там палки, если на машине — снаряды. Нельзя, и баста. Но Скок не из тех, кто так сразу и отступится.

— Что значит «нельзя»? Нельзя, мой голубь, штаны через голову надеть, а все остальное — только захотеть нужно.

Ему снова:

— Не проси, папаша, нельзя.

Лишь после этого Скок унимается. Он и сам хорошо понимает, что тут «дело такое», и разводит руками.

— Нельзя так нельзя. Да ведь попытка не пытка. Дайте хоть закурить.

Дорога пустеет, и нам с Санькой стоять уже не интересно, тем более что за Брыдкиным хлевом нас дожидается какой-то блестящий черный ящик. И мы шагаем дальше.

Чего только не повидали мы с Санькой за войну — видели танки, самолеты, пушки разные, пулеметы, а такой штуковины видеть не приходилось. Стол — не стол, шкаф — не шкаф.

— Может, это тот самый, как его? Рояль? — высказал догадку Санька.

Может быть, и рояль. А может, и не рояль. Но все равно штука стоящая.

Я бросил мешок, в котором еще нужно было принести с луга сено, смел рукавом с блестящей крышки снег и поднял ее. Вот это да!

— Поиграем? — спросил Санька и, не долго думая, изо всех сил врезал по белым костяным планочкам пятерней. Я аж вздрогнул — так громко получилось:

— Блю-ю-м-м!

С понурой Брыдкиной вербы снялась перепуганная ворона и поспешила убраться подальше, на болото.

— Бля-я-м-м! — еще сильнее ударил Санька второй рукой.

Поди догадайся, откуда взялось это диво на задворках нашей почти дотла сожженной деревни, на огороде, вдоль и поперек изрытом траншеями, покрытом воронками от снарядов и мин.

— Бом-м-м! — зарокотало оно густым басом, словно церковный колокол.

Мы с Санькой думаем, что в блиндаже, где сейчас ютится Брыдкина семья, или в их хате, пока она была цела, восседала некая важная немецкая шишка. Солдат такую громозду с собою таскать не станет: на плечах ее не унесешь. Та шишка, видимо, любила музыку и возила этот ящик повсюду, чтобы не соскучиться, чтобы, вдоволь настрелявшись, можно было и поиграть. А может, думала отволочь его в свою Германию, да припекло и стало не до ящика. Словом, хватит с них, наигрались — теперь поиграем мы с Санькой.

С самого верху открывается еще одна крышка. А там струн-струн! Не то что у Костика на балалайке. И толстые, как проволока, и потоньше, и совсем тоненькие. А по этим струнам молотят небольшие молоточки. Только в одном месте молоточки не шевелятся — там, где стойка пробита осколком.

Снова от переправы пошли грузовики, бабушка, видно, уже вытопила печь и, закрыв трубу, ведет с погорельцами разговоры о жизни, Глыжка заходится кашлем. А мы тут играем на рояле:

Блим-блям, бом-бум!

Играем и никак не можем наиграться. Ворот у меня расстегнулся, Санькина шапка прочно заняла место у него на глазах, а черный, продырявленный осколками ящик то жалостно стонет, то зловеще и грозно гудит, то заливается тонким голосом. На радостях Санька даже запел:

Фриц на бочке сидит, А бочка с порохом!

Тут и моя душа не вынесла, тут и я загорланил на весь Брыдкин огорода:

Скоро бочка взлетит Да вместе с ворогом!

В последнее время мы с Санькой часто пробуем петь вдвоем, и бабушка говорит, что выходит у нас мотивно, только слушать противно. А тут и вовсе: мы тянем свое, а ящик свое. Наши голоса глушит густой, не в лад звон. Этот звон летит над понурыми голыми вербами, над землянками и теряется где-то в туманной, пронизанной сыростью дали:

Блим-блям, бом-бум!

«Концерт» прервала старая Брыдчиха: вышла из блиндажа и давай колотить кочергой по накату.

— Вот я вам покажу, негодники! Вот я вам задам!

Она долго разглядывала нас своими подслеповатыми, слезящимися глазами, пытаюсь узнать, чьи это такие музыканты. Не узнала, и пошла дальше!

— Чтоб им бог веку не дал, гитлерам проклятым, далось им волочь сюда эту хворобу. Чтоб у них на том свете так в ушах звонило, как звонят эти босяки. Чтоб им так сатана обедню правил. Только одних прогнала, на тебе — новые явились звонари. Нет, изрублю я его! В щепки изрублю.

И она, решительно повернувшись, пошла в блиндаж, скорее всего, — за топором. Ее огород — ее и рояль. Изрубит как пить дать, и ничего не поделаешь. А жаль, такая блестящая, такая добротная вещь и так громко играет. Одно спасение — дядька Скок. Может, хоть он не даст Брыдчихе рубить тот ящик в щепки. Как-никак начальство.

Скок все еще топтался под вербой. Но теперь настроение у него было хуже некуда — больше часа зяб на студенном ветру и ни одной порожней машины не попало. А тут еще мы со своим ящиком.

— Ну и пусть рубит! — выверился на нас Скок и передразнил: — Ящик... ящик...

Мы принялись рисовать в воздухе руками, показывая, как он выглядит, тот ящик, рассказали, какие там костяные планочки.

— Так это ж певанино или спеванино, как там его? — догадался дядька и только тут спохватился: — Что-о?! В щепки?!

Спустя минуту он уже стоял подле военной повозки и умолял усатого ездового:

— Товарищ командир, а товарищ командир, изрубит глупая баба в щепки. Разве ж оно есть просит, мой голубь? А мы бы его в школу поставили, а то, глядишь, и клуб у нас когда-нибудь будет. Вон глянь, танцоры растут.

И усач не устоял. То ли тут сыграла роль дядькина «политика», то ли то, что Скок сказал, какое он начальство, то ли присутствие таких танцоров, как мы, — повернул ездовой лошадей.

Брыдчихе не удалось совершить черное дело. Когда мы подъехали, она стояла над «спеванином» с топором в руке и что-то бубнила себе под нос.

Скок, забыв про свою сухую ногу, просто выпорхнул из повозки.

— Ну, чего же не рубишь? — со злостью спросил он.

Старуха вздрогнула.

— Рука не поднимается. Хоть и никчемная вещь, а погляди, как сделана. Грех под топор пускать.

Догадавшись, чего на ее огород пожаловал председатель да еще с военной повозкой. Брыдчиха обрадовалась:

— Берите, берите, — великодушно позволила она, хотя у нее никто и не спрашивал разрешения, — везите с глаз долой. Хоть спокойнее будет. Хоть звонари вот эти перестанут барабанить целыми днями.

А когда пианино стали грузить на повозку, уже вроде бы и пожалела:

— А вещь добрая. Такой бы шкафчик можно сделать умеючи или еще что...

Мы с Санькой думали, что пианино повезут в школу, но Скок передумал. Это было бы все равно, что бросить его на улице: там же ни окон, ни дверей. В хате же у дядьки и так не повернуться. Пришлось тащить в дровяник. Мы с Санькой так усердно помогали его сгружать, что мне даже палец прищемило. А когда все было готово, на лугу ударила зенитная батарея. Интересно было бы хоть издали поглядеть, как там ведут огонь, да нужно идти за сеном. В хлеву стоит голодный Буянчик.

Единственный мужчина

Жмут морозы. Снегу намело по самые окна. Дед Николай после недавней метели еле выбрался из землянки — не мог откопаться. А Глыжка сегодня утром подобрал во дворе замерзшего воробья. Принес в хату, долго на него хукал, грел перед печью, клал на лежанку — все думал, что оживет. Воробей не оживал. Тогда брат положил его на скамью, а сам пошел поискать какую-нибудь тряпицу, чтобы тепленько закутать бедного. И вдруг — кошка! Не поспел Глыжка и глазом моргнуть, как она за воробья — и под печь. Ох, что тут было! Малой швырял в подпечек куски торфа, гремел там кочергой, забросил туда бабушкин веник и мою бахилу, но злодейка так и не вылезла. Глыжка в слезы. Бабушка, как умеет, пытается развеять его горе:

— Брось ты, глупый, воробья оплакивать. Иван тебе нового, живого поймает. — И на меня: — Ты ему поймаешь воробья или нет, лодырь ты этакий? Сколько тебе говорить нужно!

Бранится и подмигивает одним глазом.

А мне холодно и есть охота. Я лежу на печи, разглядываю потолок, смолистые сучки на струганых досках, затейливые рисунки распиленной вдоль сосны. Не воробей — совсем другое у меня в голове. Вот было бы здорово, если б сейчас поднялась одна доска и оттуда, с чердака, — мешок с булками. С такими, как приносила когда-то до войны мама из города. Да пускай бы и с простым хлебом, даже с черствым, даже с плесенью. Вот бы чудо было: зовет бабушка хлебать затирку, а я целую буханку на стол — р-раз!

От таких мыслей у меня засосало под ложечкой. Жаль, что чудеса бывают только в сказках, что только из волшебного рога всего много. Хотя, что душою кривить, бывает ведь и в жизни повезет. Я с удовольствием вспоминаю полевою кухню, стоявшую с месяц тому назад под вербами неподалеку от нашей хаты. Тогда мы жили припеваючи. Сержант-повар давал нам с Глыжкой каждый день по ломтю хлеба и разрешал после раздачи обеда выскребать котел. Да это же только говорится так — выскребать, а на самом деле на дне можно было черпать пшеничную кашу полными ложками. Иной раз попадались и кусочки мяса.

А то, говорят, у Глековой Насти и сейчас на постое какие-то командиры. Вот кому житуха, так это Насте с дочерью — помирать не захочешь. Командиры ей дают и крупу, и сахар, и даже консервы. Настиной Кате каждый день тушенки перепадает. Хотел я как-то отлупить ее у колодца, да пожалел, только разок за косу дернул.

Закрыв трубу, бабушка присела на скамью у окна передохнуть. Положила голову в подол бабке Миронихе, и та неторопливо расчесывает ей волосы

обломком костяного гребешка. Разговор у них, как всегда, о жизни. Мрут люди в деревне, как мухи по осени. Вчера Поликарпа с хутора хоронили. На поминках был перловый суп и картофельные оладьи с толченой коноплей. По нынешним временам такое и на свадьбу не стыдно выставить. А сегодня сразу трое похорон.

Косит наши Подлюбичи сыпняк.

Вспоминает бабушка, что и в ту войну, когда царя скинули, такое было. Так уже оно ведется: с войной приходят и голод, и нужда, и тоска. А болезни только того и нужно, тут она и скручивает человека.

Толкуют старухи про лагерь, который устроили фашисты. Тысячи наших людей согнали они туда и напустили на них сыпняк. Должно быть, оттуда и наши завезли эту хворобу. И не столько бабушка самой хворобы боится, сколько железной будки, которая ездит по дворам где есть больные. Возят ее солдаты-санитары, цепляя за машину-полуторку. Те же солдаты обливают хаты чем-то вонючим, хоть нос затыкай, а потом жарят в будке белье и другие вещи. А долго ли их там и вовсе спалить? Ховрина свитка в будку попала, так, сказывают, весь рукав как есть истлел. Да в такой жарнице любая вещь духи выпустит. Сколько ее потом поносишь?

Я слушаю да усмехаюсь про себя: много они, старые бабы, понимают. Ничего там такого страшного нет. Мы с Санькой сами смотрели, как Ховрину одежду загружали. Будка как будка. Дезинфекционной камерой называется. Снизу печка, а сверху железный шкаф. Хотели мы глянуть, что там внутри, да нас солдат потурил. Черный какой-то, как цыган, а глаза будто осокой прорезаны — узенькие. Выскочил он со двора с той брызгалкой, что хаты обливают, да как закричит, будто мы на мину собрались наступить:

— Ты сюда давай не ходи! Твой помирать будет, мамка плакать будет!

Мы с Санькой не из трусливого десятка. Подумаешь, страх великий — умирать. Пусть бы еще что выдумал. А черный солдат обозлился, брызнул на нас тем самым, что воняет, и прямо Саньке на штаны. Пришлось нам убираться прочь.

— Ой, милая ты моя! — прервала Мирониха бабушкины рассуждения. — Что-то Марина сюда бежит-торопится.

Едва тетя Марина, мамина сестра, скрипнула дверью, как бабушка испуганно вскочила:



— Что такое?

Из-под платка у тети выбились непричесанные, уже схваченные сединой волосы, щеки в красных пятнах, глаза припухшие, заплаканные.

— Андрей умер...

Обломок костяного гребешка упал на пол, а бабушка наша растерянно забегала в своем «хренче» по хате:

— Ну вот... Ну вот... и до нас докатилось.

Дядя Андрей. Еще на прошлой неделе он приходил к нам, рылся в отцовском столярном инструменте, выбирал что-то: задумал делать из деревянных колодок жерновки. Такой же высокий, как и прежде, такой же неуклюжий, он все спорил с ночевавшим у нас солдатом. Дядя любил ученые слова, невесть где их вычитывал, запоминал и в любом споре сыпал ими как горохом:

— Атмосфера теперь иная. Теперь у немцев не та география, что в сорок первом, — доказывал он солдату.

А солдат считал, что «география» у них еще не такая уж и безнадежная. Вот засели в сотне километров отсюда, под Рогачевом, зарылись в землю, и не подступишься к ним, ни с какой стороны не укусишь. Вот тебе и «география»! На это дядя убежденно ответил:

— Конвульсии.

Прямо не верится, что дяди нет больше на свете.

— Ну вот... ну вот... — мечется по хате бабушка.

А тетя Марина причитает:

— Да как же мне быть, да как же мне жить да ораву детей растить? А как же мне его из больницы привезти? Ни коня же у меня, ни вола...

Что-то мне холодно сегодня. Вовек бы не слез с печи, если б не тетя, с этими ее причитания. Нужно, пожалуй, помочь. Двое ее младших тоже лежат снопами, а старшему — Федосу — столько же, сколько нашему Глыжке. Куда ему! А я запрягу Буянчика и привезу.

— Не сдюжит, — усомнилась бабушка.

— Сдюжит! — уверенно ответил я, перетрясая на печи разное старье: где-то запропастилась шапка.

Дед Николай с месяц тому назад начал запрягать стригунка. Сделал ему небольшой хомутик, приладил к самодельным санкам оглобли, сена охапки две положит и везет с луга. Сперва, правда, жеребенок брыкался, бросался в стороны, падал на колени. Удила в зубы сунули — смирился. Что ж поделаешь, если нужно?

Видя, как жеребенок мечется в оглоблях, сопит и обливается потом, дед сам впрягался рядом и все вздыхал:

— Дитя горькое. Гулять бы тебе еще да гулять. Да что ты попишешь, коли война? Она никому в зубы не глядит: ни малым ни старым.

Верно, война не глядит. Вот дед Николай хвастался, что его уже никакая хвороба не возьмет: переболел и сыпняком, и какой-то испанкой еще в первую мировую, при царе. Но слег и дед. Вторую неделю не вылезает из землянки. Будь он на ногах, может, сам сегодня поехал бы. А так мне доведется — единственный мужчина из всей отцовой и материнной родни.

...Спина и бока у Буянчика тронулись инеем. От мороза слипаются в носу. В дядиной свитке и больших разбитых валенках я сижу на охапке сена и понукаю жеребенка. По укатанной дороге санки бегут легко, зато на ухабах не конь тащит их, а они тащат за собою коня. А там, где дорога покрыта ледком, Буянчик беспомощно скользит, ноги его разъезжаются в стороны, он весь дрожит и часто дышит, пуская из ноздрей клубы пара.

Эх ты, стригунок Буянчик! Видно, прав был дед. Не стать тебе боевым конем, не ходить в атаки, не топтать врагов копытами. Надели на тебя хомут прежде времени, не дали порезвиться, набраться сил. Прав дед. Но ты не горюй, брат, — перебьемся, одолеем беду. Нам с тобой только бы до весны дотянуть, а там и солнце будет, и щавель.

Нам с тобой только отца дожидаться с войны, а там не пропадем!

Тетя Марина говорила, что в городе нужно ехать все прямо и прямо по Советской, потом, за базаром, свернуть, на другую улицу и опять — прямо и прямо. Пусть бы сама попробовала проехать: то минеры не пускают, то дорога завалена битым камнем. Долго мы с Буянчиком петляли по немому холодному городу, пока выбрались на окраину, где были госпитальные бараки. Какой-то мужчина дорогу показал.

В дощатой сторожке у госпитальных ворот воздух густой от махорочного дыма. Печка из железной бочки докрасна раскалилась. В этой духоте, пропахшей карболовкой, томятся люди в свитках, ватниках, шинелях. Кто с корзинкой, кто с торбочкой — принесли своим передачи.

В углу тихо плачет женщина. Ей только что вернули лепешку и бутылку с молоком: тому, для кого оно предназначалось, больше ничего не нужно.

На мое «здравствуйте» никто не ответил. Старик в облезлой шапке — видно, тоже из деревни — расставил над печкой руки, будто хочет ее обнять, и спорит с солдатом-инвалидом насчет не то американцев, не то англичан, которые должны были открыть против Германии какой-то второй фронт, да все не открывают.

— Их Черчилль не дурак в пекло лезть, — рассуждает старик-грамотей. — Он на Ивановом горбу хочет в рай въехать.

А солдат скептически усмехается:

— Много ты понимаешь, дед. Теперь им некуда податься, раз наша берет. Теперь им выжидать не полоса.

— Не понимаю, и не надо, — обиделся старик. — А я всё равно так скажу, обещанного три года ждут...

Солдат был дежурным по госпитальной проходной. Узнав, зачем я приехал, он неохотно поднялся с теплого места у печки и пошел отворять ворота. Пропуская во двор подводу, дежурный, словно не веря своим глазам, спросил:

— Это что — лошадь твоя?

— Лошадь, — подтвердил я.

— И справишься?

— Справлюсь.

— Гляди, какой шустрый, — повел он головой и неторопливо зашагал впереди, показывая дорогу. Ветер доносил до меня недовольную воркотню: присылают тут разных молокососов...

И вот я уже еду домой. Скрипит под ногами снег, тонко повизгивают полозья. Я беспрерывно понукаю Буянчика. Его бока ходят, как кузнечные меха, с

мокрой, потной спины валит пар. Будь он хоть подкован — другое дело, а то скользит и скользит, не может налечь как следует. Когда дорога идет в гору, жеребенок совсем выбивается из сил, то и дело останавливается, тяжело сопит, дрожит от натуги. Нужно подпрягаться самому. Зато с горки можно и подъехать, устроившись рядом с дядей, накрытым с головой домотканой постилкой. Санки бегут сами, бьют передком Буянчика по ногам, хомут лезет ему на уши.

— Эй, шевелись, малыш!

По обе стороны улицы вместо домов задымленные каменные стены. Вольно гуляет в руинах ветер, гремит листом ржавой жести, свисающим с карниза бывшей почты.

Одна за другой меня обгоняют машины. В кузовах облепленные снегом, как деды-морозы, солдаты подняли воротники полушубков, прячут руки в рукава.

Потом пошли тягачи с пушками, грузовики с крытыми брезентом кузовами. Вот это сила так сила! Нет, не та, как говорил дядя, теперь география.

На перекрестке двух улиц машет флажками девушка в белом военном полушубке, в валенках и с карабином за спиной. И так это красиво у нее выходит, что я даже рот разинул и тут же едва не попал под колеса машины. Грузовик, объезжая мои санки, по оси зарылся в снег, ревнул всем своим железным нутром, окутался дымом и поехал дальше, а регулировщица налетела на меня:

— Куда прешься?! А ну — поворачивай своего котенка!

Ишь ты — храбрая. Разошлась, как холодный самовар. Это Буянчик-то ей котенок. Видели мы таких! Все это я хотел ей высказать, но промолчал, взял жеребенка под уздцы и съехал с дороги в снег.

А машины идут и идут, обдают меня бензиновой гарью, осыпают снежной пылью. Буянчик беспокойно стрижет ушами, будто готов испугаться и понести.

Еще шли мимо последние машины — регулировщица подбежала к санкам.

— Ты что, ослеп? Глаза у тебя повылазили, желторотик?

И вдруг, заметив длинные дядины ноги, торчащие из-под постилки, осеклась, захлопала белыми от инея ресницами.

— Отец.

Я был зол на нее. Только что и «котенок», и «желторотик», а теперь, видите ли, сочувствует.

— А тебе какое дело?

Глянул на дядю — не потерялась ли шапка? — и тронул Буянчика.

На бывшем аэродроме дома, где жили летчики, глядят пустыми провалами окон. Сквозь проломы в стенках видны разрушенные лестницы; закопченные железные балки покорежились от огня. На кирпичной стене выведено мелом! «Мин нет». Посреди руин на проволоке гремят одубелые подштанники и полотенца вымерзают после стирки. Смотри ты, даже здесь, среди этого стылого камня, живут люди.

К вечеру разгулялся ветер. В поле бегут через дорогу белые вспененные ручьи снега. Мой жеребенок совсем изнемог, спотыкается, как слепой, поминутно останавливается, два раза уже падал на передние ноги. Застигнет в поле ночь, собьемся с дороги — тогда беда. Либо замерзнем, либо — волки. Говорят, они бродят теперь ночами не то что по полю, а даже по селу. Наша соседка Чмышиха, которую мы зовем монашкой, сама видела. Шла поздно с поминок, а он стоит на Феклином пепелище, светит глазами. Потом повернулся и — тух-тух — подался на загуменье.

Тревожно оглядевшись, я быстренько отвязал вожжи, зацепил их за копыл рядом с оглоблей, перекинул лямку через плечо и, налегая изо всех сил, пошел рядом с Буянчиком. Пусть наши враги не думают, что мы заплачем, — не на тех нарвались.

— Но-о, малыш, но-о! Ах ты!.. Тпру! Тпру! Тпру!

Вот незадача! В толк не возьму, как это вышло. На ухабе санки швырнуло, жеребенок рванулся изо всех сил и... выскочил из оглобеля. Гори оно гаром — гуж порвался. И ничего удивительного: был-то он из гнилой веревки.

Руки у меня, как грабли. Хукаю на одубевшие пальцы, хлопаю в ладони, а веревки не связываются. Они, словно железные, не гнутся, хоть плачь. А вокруг чистое поле, ветер и метель. Ни ночевать здесь, ни бежать, бросив дядю, в село за подмогой. Нет, надо обождать, может, будет кто идти или ехать. Нечего впустую жилы рвать, передохну малость.

Укутавшись в постилку, которой был накрыт дядя Андрей, я сижу на санках. Текут через дорогу белые ручьи, текут. Белый, будто вылепленный из снега, стоит Буянчик. А вот я уже лежу на печи за белым пологом. Лежу и не могу понять, где это бабушка разжилась такой материей. До войны, помнится, такие марлевые пологи давали больным малярией, чтоб их не кусали комары. Был такой и у моего отца. Так неужто и у меня малярия?

А снизу так славно пригревает, и от этого приятного тепла по всему телу разливается истома, не хочется шевелить ни рукой, ни ногой. Бабушка знает, что это просто-напросто лень. Надо бы ее выгнать из меня, да жаль — отца нет, а сама она уже не совладает.

Она, как обычно, гремит чугунами, сковородой, заслонкой. Рядом со мной калачиком свернулся Глыжка. Спит он беспокойно, брыкается и почему-то кричит басом:

— Эй ты! Чего сидишь? Замерзнешь.

Открыл я глаза — ни печи, ни хаты. Передо мной стоит белый, как мельник, мужчина. Снег на шапке, на плечах, на бровях и усах. Стоит и зло кричит, как глухому, заслоняя от ветра лицо трехпалой солдатской рукавицей:

— Чего рот разинул? Жить надоело?

Только теперь я разглядел, что это солдат, что почти рядом с моими санками, отдувается сизым дымком санитарная машина. Она засела в глубоком сугробе. Вокруг машины с лопатой мечется шофер и клянет все на свете. Хлопнув дверцей кабины, ко мне подходит офицер. Кажется, даже знакомый. Это сутулый, длиннорукий, в больших очках капитан-медик. Когда Скокова Лешку с сыпняком забирали, и он тогда был. Ох, и турнул же он нас с Санькой со двора, бежали — остановиться не могли. Говорил, и нас заберет, как разносчиков болезни. А у него разговор короткий. Сыпняк? На носилки, хату облить, одежду — в камеру. Иные просят-молят — и слушать не хочет. Строг капитан.

— Живой? — спросил у солдата.

— Живой, чертеныш, — ответил тот.

Солдат быстро и ловко связал гуж, запряг Буянчика и свел мою «подводу» с дороги, чтобы могла пройти машина.

— Доедет? — спросил у солдата хмурый капитан.

— Доедет, — успокоил тот. — Тут близко. — А мне пригрозил: — Смотри же не садись, а то повезут тебя с твоим дядькой вместе.

Буксуя в сыпком снегу, «санитарка» проползла мимо, подмигнула мне красным глазом стоп-сигнала и исчезла в густой метели. Снова кого-то из наших сельчан повезли в те бараки. Возят и возят — конца-краю не видно.

Хату дяди Андрея сожгли немцы. Теперь тетя Марина с детьми живет у золовки. Малышни, как и у нас, полная печь. Не успел я дверью скрипнуть, как они, что стрижи, повысовывали головы из-за трубы: у золовкиных — чернявые, у тетких — как лен.

Тетин самый младший, Коля, спросил:

— Ну что, привез батьку?

— Привез, — ответил я и стал топтать тяжелыми дядиными валенками, чтобы сбить снег.

В печи полыхает пламя, его длинные языки скачут прямо в трубу — варится поминальный обед. Увидев меня, тетя бросила ухват в угол и всплеснула руками:

— А мой же ты племянничек дорогой, а мой же ты хлопчик золотой!

Она бросилась помогать мне расстегивать пуговицы на свитке, которые с мороза никак не хотели пролезать в петли. И все твердила, словно оправдываясь:

— Нагоревался, бедняжка. Да что ж, коли этот дядька затеял помирать в самое лихолетье... — И вдруг снова запричитала: — Андрейка, мой соловейка, на кого же ты нас покинул?..

Тут и малыши на печи, как по команде, заревели все вместе — и тетины, и золовкины. Сама золовка, высокая и худая женщина, побежала во двор распрягать Буянчика. Слышно, как она там тоже голосит над братом. Одна моя бабушка спокойна, строга и рассудительна. Она сидит подле кровати, где мечутся в жару двое Марининых ребят, и говорит:

— Брось, Марина, сердце рвать. О-о-ох, девка, еще наплачешься. Пока придут бабы Андрея обрядать, покормила бы лучше хлопца. И капни ему там в чарку. Видишь как человек колотится?

Я ушам своим не поверил — человек! Ой, что-то в лесу большое сдохло, если бабушка назвала меня человеком. Обычно я для нее идол, антихрист и безотцовщина. А тут — человек.

— Пей, глупый, пей, — уговаривает меня тетя. — Это я для мужиков расстаралась, что могилу копают. И ты согрей нутро.

Хата поплыла в глазах. Кружится потолок, миска с перловым супом на столе, кружится печь и тетя с рогачом возле печи, кружится богородица с лампадкой.

— Ешь, племянник, досыта ешь. Хочешь, еще подолью? Ты не гляди на них, — кивает тетя на притихших ребятишек, — они не голодные.

И мне стало как-то легко и весело. А тут еще тетя подливает масла в огонь:

— Ах ты, мужчинка наш! Ах ты, дитяtko мое дорогое!

А что, я такой, я все могу. Я сильный, я смелый, я смекалистый! Это не я хвастаюсь, это сам язык хвастает:

— Веревка — хлоп, а я взял и... связал.

— Неужто сам связал?

— А кто же еще. Я что хочешь свяжу... Я...

...Припекают снизу горячие кирпичи, шумит в ушах ветер, кружит в глазах снег.

— Дядина шапка не потерялась?

— Спи-спи, цела шапка, — успокаивает меня бабушкин голос.

— Их Черчиль не дурак в пекло лезть. Он на Ивановом горбу хочет...

— Спи уже, Черчиль!..

Как хоронили дядю, я не видел — проспал. Просыпаюсь — надо мною капитан в очках, а солдат тащит в хату носилки.

Кащеи-ухажеры



За окном солнце. За окном разошлись-раскричались воробьи. А здесь душно и отвратительно пахнет карболовкой. На соседней койке неподвижно лежит мужчина с восковым лицом. Его обступили врачи и сестры. Они о чем-то тихо говорят, а о чем — не разберешь. Вроде бы и не по-нашему. Когда все двинулись дальше, одна медсестра наклонилась и простыней накрыла моего соседа с головой.

С другой стороны еще койка. Оттуда за мною наблюдают большие глаза с длинными пушистыми ресницами. Когда я повернул голову, глаза стыдливо закрылись. По-моему, это девчонка. На голове белая косынка, лицо тоже белое до прозрачности, даже чуть-чуть голубоватое, а на носу рыженькие конопушки. Такие конопушки могут быть только у Глековой Кати, той самой Кати, которую я давно недолюбливал, а после недавней стычки у колодца и вовсе возненавидел.

Когда наши взгляды встретились снова, мне стало неловко и как-то тревожно. Мне показалось, что Катя едва заметно улыбнулась. Чего это она? Видно, она давно вот так исподтишка наблюдает за мной. А я, чего доброго, когда был без сознания, стонал или даже плакал. Еще вообразит что-нибудь...

Но мои тревоги развеял доктор. Высокий, широкоплечий, аж халат на нем не сходился. Лицо круглое, молодое, глаза все время улыбаются, только волосы совсем белые. Взяв мою руку, чтобы пощупать пульс, он бодро спросил:

— Ну что, будем жить, герой? Э-э, ты чего ж это так кисло улыбаешься? А ну-ка веселей! — А потом возвестил на всю палату: — Не хлопец, а кремь! Настоящий мужчина. Ни уколов не боится, ничего!

У меня сердце так и зашло все, будут колоть. Тайком я поглядываю, какую сестра берет иголку — большую или маленькую — и делаю каменное лицо. Подумаешь — укол! Чихать я на него хотел.

Я не вижу, я чувствую на себе любопытный взгляд соседки. По-моему, она опять улыбается. Так пусть же не думает девчонка, конопушки те рыжие, — не ойкну. Настоящие мужчины не ойкают.

А выпить не морщась горькое, как полынь, лекарство — это уже совсем плевое дело. Жаль только, что она в тот момент отвернулась и, должно быть, не видела, как я храбро глотнул.

Зато она ойкнула, чуть даже не заплакала. Гляньте на нее — полные глаза слез. И скривилась, когда пила лекарство. Девчонки — что с них возьмешь? Им бы только конфеты есть.

Когда сестра собрала свои блестящие коробочки и пошла дальше, Катя тихо спросила:

— Тебе и вправду не больно?

— Нет, — соврал я, не моргнув глазом, — как комар укусил.

— Вот бы мне так, — вздохнула она.

Нашла с кем равняться! Мы с Санькой ко всему привычные, не какие-нибудь маменькины сынки.

И так каждый день. Доктор говорит, что я герой, сестра говорит, что я золотце, и колет меня почему зря, и поит горькими, солеными, кислыми и еще бог весть какими лекарствами. И каждый день я мужественно переношу все испытания.

Конец этому наступил на исходе зимы. Родной, милый Буянчик, лохматый и весь в коросте, той же дорогой, по которой я вез дядю Андрея, везет теперь домой меня.

— Гей ты, пошевеливайся! — весело покрикивает тетя Марина, разбрызгивая огромными резиновыми бахилами грязные лужи.

И так мне хочется скорее домой, скорее увидеть бабушку, Глыжку, Саньку, что соскочил бы с санок и побежал вприпрыжку.

А санки то плывут медленно по мокрой снежной каше, то царапают полозьями голые камни мостовой. И старается стригунок, да тяжел воз. Чего только не напялила тетя на меня, чего не навалила еще сверху, чтобы, сохрани бог, я не простудился: и свитку, и армяк, и постилку. Под шапку повязала тонкий платок, а поверх шапки — толстый, бабушкин.

— Гей! — приговаривает тетя. — Отворяйте ворота, едет пан криворотый.

Я верчу головой и будто впервые гляжу на свет. Какой-то он новый, радостный, солнечный. Вон воробьи купаются в лужице, натопорщили перья, смешно трепещут крылышками, воровато озираются. Вот драку затеяли. Чудаки да и только — воды им не хватит.

С карниза высокой кирпичной стены сгоревшего дома свисают длинные сосульки, роняя на тротуар частые капли. Одна сосулька оборвалась, ударилась о камни и рассыпалась мелкими искрами.

Навстречу нам движется колонна пленных немцев. Тетя свела Буянчика с дороги, и мы рассматриваем их с трех шагов. Они не цокают коваными сапогами, как прежде, а бредут табуном, шаркают и шаркают подошвами по мокрому шоссе. Шинели выцветшие, в кирпичной и известковой пыли. В руках не автоматы, а кирки и ломы. Что — Москау капут? Убили вы меня с Санькой? Заморили сыпняком? Вот он я — живой и домой еду.

Мы рассматриваем немцев, а они нас. Одни с любопытством: что это, мол, за чучело гороховое на санках сидит? Другие смотрят, как на пустое место, смотрят — и не видят. А вот тот белобрысый, без бровей и век, волк волком глядит. Так бы и сожрал, дай ему только волю. У некоторых вид самый доброжелательный. Будто это не они исполосовали Саньке спину, ловили кур, расстреливали ополченцев и партизан. Будто это не они гнали с собаками через наше село осенью сорок первого избитых, голодных, окровавленных красноармейцев.

— Морды-то, морды какие! — заметила вдруг тетя Марина. — Говорят, кормят их — дай нам бог на пасху. По фунту, если не больше, хлеба дают. Это ж дай мне на каждый рот по фунту хлеба, я бы с детьми горя не знала.

— По фунту? — не поверил я. Не мог поверить. Почему-то вспомнилось, как два года назад жена Поликарпа привезла из плена своего мужа, того самого Поликарпа, что умер нынче от сыпняка. Мы видели, как родичи под руки вели его в хату, сам он не мог идти: одни кости да глаза. А им теперь по фунту хлеба?

— Душа у нас добрая, — вздохнула тетя, поправляя на Буянчике упряжь. — Отходчивая. Быстро зло забываем.

Нет, я еще не забыл. Я все помню. Будь моя воля, я бы их накормил, напоил и еще на дорогу дал бы, чтоб тоже помнили.

— Ох, грех, тяжкий, — засмеялась тетя. — Ты бы уж дал! Помолчи лучше, давалка.

И она, по-мужски причмокивая, дернула за вожжи.

В хату она втащила меня на спине, как мешок, и посадила на скамью. От радости бабушка металась взад-вперед, долго и бестолково пыталась разобраться в моем облачении, хваталась то за пуговицы, то за платок, то за бечевку, которой я был подпоясан, не развязав, бралась расстегивать, но расстегнув, принималась стаскивать рукав. Наконец все, что было на мне —

платки, шапка, старый дядин армяк, свитка и поддевка, — снято и свалено на полу в кучу. Бабушка всплеснула руками:

— Ах, горе ты мое! Ну кашей кашем! Знать, невкусно там готовили. Или мало давали? А?

— На живой кости мясу недолго нарасти, — успокоила ее тетя.

Но та лишь махнула длинным замусоленным рукавом «хренча».

Понимать это следовало так: самой бабушки там не было — и толку не было, одна бестолковщина. Разве ж чужой так досмотрит, как свой?

А Глыжка вырос — не узнать хлопца. Штаны ему коротки, рукава рубашки — тоже. А шея, как у гусака, длинная и по-прежнему невытая.

— Лень ему мыться, — пожаловалась бабушка. — Глаза, как кот лапой, трошки протрет — и уже готов, умылся.

Смотри-ка, он и «р» выговаривать научился, так же старательно «рэкает», как соседский Колчан, когда его дразнишь.

— Пр-приехал? — спросил Глыжка и, словно не веря глазам, дотронулся до моего колена.

— Приехал.

— Попр-равился?

— Поправился, — кивнул я.

Брат стоит и улыбается во весь рот. Он просто не знает, чем первым делом похвастаться — столько у него нового добра. Сперва извлек из кармана белую алюминиевую гильзу, которой оделил его ночлежник-солдат.

— Гля, р-ракета!

Потом принес самодельный конек — деревянную колодку с проволочным полозком.

— Гля, Санька мне сделал.

Похвалился новыми, защитного цвета заплатами на коленях: солдатские. А когда больше хвастаться, казалось, стало нечем, открыл рот и показал туда пальцем:

— Гля, новый зуб р-растет.

И вдруг Глыжка сообщил мне такую новость, что бабушка подскочила на месте, словно на нее кипятком плеснули. И ведь тихо, кажется, сказал:

— Мы твой кр-крест Малахам займы дали.

— Прикуси язык свой невытый! — стукнула бабушка по столу кулаком.

Глыжка язык прикусил, виновато захлопал глазами. А потом, когда меня накормили с дороги и мы с ним забрались на печь, я все равно обо всем выпытал. Оказывается, за мною дважды в больницу ездили: первый раз — за мертвым, а сегодня — за живым.

И все из-за Чмышихи, нашей набожной соседки. Та собралась как-то на базар купить соли, а бабушка и упростила ее заодно передать мне две ржаных лепешки. Чмычиха лепешки принесла назад, а вместе с ними и «святую правдочку» обо мне: «Нет уж вашего Ивана». Будто бы лепешек тех у нее не взяли.

Бабушка в панику. Тетя Марина запрягла Буянчика и поехала в город, а она, напричитавшись вдоволь, пошла в дровяник и добыла из своего тайника дубовую плашку.

Я помню ту плашку. Она лежала у стены, заваленная разным мусором и щепками. С давних пор бабушка берегла ее для себя. Однажды в самую стужу я собрался порубить ее на дрова. Вот уж не рад был! Оказалось, что я заодно с тем рыжим псом-полицейским. Тот наложил лапу на ее вещички, припасенные на смертный час, а я и до креста добрался. Нашел топор под лавкой.

Бабушка сама выволокла плаху из дровяника и попросила солдата сделать крест. Солдат сделал. Правда, на поперечину дуба не хватило, пришлось прибить сосновую.

Тетя вернулась домой с пустыми санками, веселая и радостная:

— Жив он, жив. Кризис у него какой-то был...

Глыжка говорит, что бабушка хотела монашку с землей смешать, да тетя не пустила. Бабушка кричала, что Чмышиха своей «святой правдочкой» полжизни у нее отняла.

А потом пришли к нам Малахи. У них старуха умерла, а креста сделать не из чего.

— Отдай ты нам, Матрена, крест, — говорят. — С возвратом. Вам же он пока не нужен, пока жив Иван.

— Пусть он нам век не нужен будет, — сказала бабушка и отдала крест просто так, даром и навсегда.

Вот сколько произошло тут разных событий, пока я глотал в госпитале всякую отраву и на глазах у Кати мужественно переносил уколы. Однако и это еще не все. Санька тоже принес целую охапку новостей. Прослышав, что я уже дома, мой приятель ворвался в хату так, что бабушка подумала, уж не гонятся ли за ним по пятам собаки.

— Слышали? Наши фронт прорвали! — крикнул Санька еще с порога. Он сам читал в газете приказ Верховного Главнокомандующего. Так на Буге всыпали фашистам, что драпать не успевают.

— А где же тот Буг? — поинтересовалась тетя Марина.

— Там! — уверенно махнул Санька рукой в сторону Миронова сада, хотя мне кажется, что Буг совсем в другой стороне — за усадьбой Малахов.

А еще к нам в Подлюбичи приехали из Москвы две докторши от сыпняка нас лечить. В Санькиной хате остановились. Они его матери, тетке Марфешке, житья не дают — все чистоты добиваются. А сами цыпочки какие-то. Юбки узкие, каблуки высокие. Смех смотреть, как они себе брови какими-то щипчиками выскубывают. Морщатся, а скубут. Это, они считают, красиво.

Назар Михейчик насовсем с войны пришел. Контуженный. Станет цигарку свертывать — руки дрожат, и весь табак просыпается. Старый Михейка сам ему цигарки делает.

Нинку, что до войны в колхозных яслях была няней, бригадиром поставили. Хотя, может быть, еще и не поставили, потому что Санька слышал, как она кричала возле сельсовета на всю улицу:

— Пропади оно пропадом, ваше бригадирство. А сеять чем? Что я, сама в землю лягу?

Каждый день прибегал ко мне Санька. А неделю спустя я уже и сам стал выходить во двор погреться на солнышке. Я сижу на завалинке, а посреди двора, грустно свесив голову, стоит Буянчик. Когда мы его привели, он, пожалуй, выглядел лучше. А теперь вся шерсть клочьями, взгляд понурый, тут и там пятна какого-то дегтя. Это дед Николай лечил его от коросты.

Когда бабушка перестала бояться, что меня повалит ветер, я начал выходить и на улицу. А однажды мы с Санькой пошли даже к колодцу по воду. Тут-то мне снова и повстречалась Катя. Она подошла раньше нас и хотела первой опустить ведро. Нет, погоди малость, не на тех ты, Катя, хлопцев наскочила! Санька решительно отодвинул ее ведро:

— Не лезь!

Она окинула нас презрительным взглядом и с издевкой в голосе спросила:

— А это ваш колодец?

— Наш! — отрезал Санька таким тоном, что у кого-нибудь другого сразу отпала бы охота возражать! Но ведь вы не знаете этих рыжих конопушек.

— Ой, задавали несчастные!

Тут и я вскипел. Хотел по старой памяти дернуть ее за косу, чтобы в другой раз была поделикатнее, а в руках осталась только белая косынка.

Сперва мы остолбенели от удивления. Глядим и не узнаем Кати — нет косы. Острижена под нулевку. Так вот почему в госпитале она не снимала косынки! Санька так и покатился со смеху, прямо за живот хватается. И я захлебываюсь — уняться не могу. Кажется, ничего на свете нет смешнее, чем стриженная Катя. А она залилась краской, даже веснушки пропали. Хлоп-хлоп своими длинными ресницами — и слезы, как бобы. Бросила ведро и бегом домой.

А мы ей вдогонку:

— Стриженная! Стриженная! Стриженная!

Вот так! Будет знать, какие мы задавали.

Через полчаса о нашем: «геройском» поступке узнала бабушка. Катина мать нажаловалась. Бабушка поставила нас с Санькой по стойке «смирно» и прочла мораль. А мораль у нее одна: большие мы выросли, а ума не вынесли. Нашли над чем смеяться, черти рогатые. Будь отцы дома, они бы нам рога посбивали. Больно уж они крутые у нас стали, эти рога. И лишь под конец бабушка сказала что-то новое:

— Гляньте вы на них, люди добрые. Кащеи кашеями, а уже с девчатами заигрывают. Ухажеры!

— Г-гы! — расплылся в улыбке Глыжка.

Я незаметно показал ему кулак.

Мельники и круподеры

Все, вероятно, знают сказку про солдата, который из топора кашу варил. Знаем ее и мы с Глыжкой. Я не раз ее в книжке читал и перечитывал. И каждый раз мы восхищались солдатской смекалкой:

— Вот голова!

А у бабушки на этот счет свое мнение. Она считает, что не нужно особой смекалки, если к топору тебе добавят и крупы, и сала, и соли. Вот пусть бы тот солдат в ее шкуре побывал, а потом уж хвастался. Топоров у нас, слава богу, хватает. Отец-столяр припас целых три да колун — четвертый. Пятым, с «кошкой» вместо обуха, бабушка у немцев разжилась. Знай вари кашу да объедайся. Так нет же, ни один, сколько этих солдат у нас не перебивало, не то что каши, даже супца из них не сварил.

— Сказка она и есть сказка, — машет бабушка рукой на книжку. — Пускай бы он на моем месте попробовал.

Что правда, то правда — бабушке нелегко. С утра до позднего вечера у нее одна забота — чем бы нас накормить. Чуть свет она уже в поле собирает перезимовавшую в земле картошку, моет ее, перебирает, сушит на завалинке — добывает «крухмал». Потом, расчиняя из него оладьи — «лапоники», — чешет потылицу, где бы ей раздобыть хоть щепотку соли. Соседи нас больше не выручают: сами едят не солоно. И вспоминает бабушка предвоенную жизнь — вот было соли, хоть завались. И соль же соль — белая, чистая и почти что даром.



Теперь соль черная и больше горькая, чем соленая. До войны ею поле посыпали, чтоб лучше все росло. А сейчас люди приспособились: слегка вываривают из нее горечь и продают стаканами. Сами по хатам носят: стакан соли — пуд картошки, черпак жидкого, черного и вонючего, как деготь, мыла — тоже пуд. А кто нам этих пудов напудил?

Ну, без мыла еще полбеды. Не доживут они до того, чтобы моя бабушка стирала их мылом мои с Глыжкой штаны! От него только грязнее станут. Для этого у нас есть старая, лопнувшая лохань, а золы не занимать. Вот без соли — не жизнь, а горе одно. Все такое невкусное, пресное, как трава, в рот не лезет.

Дрянь дело и без муки. Тут уж хоть золотом приправь бабушкин «крухмал» — хлеб пахнуть хлебом не будет. Нужна хоть горстка муки. Правда, прибедняться нам грех: за печью в хате стоит почти полная кадка зерна, которое бабушка спасла от власовских лошадей. Но ведь из немолотого зерна хлеба не испечешь.

И снова бабушка заводит свое «вот до войны». До войны в Подлюбичах была ветряная мельница. Ах, как там мягко мололи! Пух, а не мука. А нам с Санькой и остальным хлопцам ветряк нравился совсем по иной причине: мы любили кататься, цепляясь за его крылья. Героем был тот, кто взлетал выше других. Но тут нужно было остерегаться, как бы не хватить лишку. Петрик Смык однажды запоздал спрыгнуть и как грохнется оземь — водой отливали.

При немцах мельница сгорела. Теперь там в зарослях полыни лежат только два огромных круглых камня да ржавеют гильзы от снарядов. Теперь каждый, у кого сыщутся какие-нибудь пригоршни зерна, мелет его, как может, каждый мудрит по-своему, каждый сам себе мельник. Проще всего — пест и ступа. Но пест не обычный, а железный, вроде лома, только с тупым, расклепанным концом. Не пожалеешь пота — пест сам муку покажет.

Как-то бабушке пришло в голову наделать муки. Она обежала все село и явилась домой с таким вот пестом, тяжелым и тупым. На день взяла у кого-то. Всыпала в ступу два совка ячменя, прикрыла ее сверху полотенцем, чтоб зерно не разлеталось по полу, и, поплевав на ладони, принялась за дело — аж хата ходуном заходила. Бренчит на скамье ведро, дрожат стекла в окнах, а муки все не видно.

— Давай-ка ты погрейся малость, — предложила мне бабушка, вытирая с лица пот. — Лепешки, небось, любишь?

Я начал довольно бойко, хотя железяка била тяжело и не хотела слушаться. Несколько раз гакнул в самую точку, а потом как заеду по стенке — чуть ступа

не повалилась. Пест вырвался из рук, свистнул меня по лбу, из глаз на пол дождем сыпанули искры. Очухался — а это не искры, а ячмень из ступы.

— Так-так, — приободрила меня бабушка, — больше рассыпай, идол сухорукий, — поешь лепешек. — Отпихнула меня в сторону, снова взялась сама. — Чем такая помощь, так лучше уж без нее.

Однако и у нее ничего не получилось. Правда, пест показал муку, чуть-чуть побелел на конце, но больше мы ее и не видели. У бабушки лопнуло терпение:

— Да пропади оно пропадом! — плюнула она в досаде.

Хорошо живется тем, у кого есть самодельная мельница — жерновки: крути себе да крути помаленьку. Пока хата деда Николая не сгорела, мы тоже не знали беды, Были у него жерновки. Не бог весть, правда, какие, но мололи.

Бабушка отнесла пест хозяевам и с тех пор знать его не хочет — ходит молоть по соседям. А так много не находишься: то им самим нужно, то родню в первую очередь пустят, то просто скажут, что жерновки поломались, хотя и слышать хорошо, как они там, в сенях, голос подают. Разные люди бывают.

Обзавестись какими ни на есть, но своими собственными жерновками — самая заветная бабушкина мечта. Тогда она чувствовала бы себя человеком, не ходила бы и не кланялась черту лысому. Есть что — мели, нету — сиди себе сложа руки.

Да нет в доме хозяина, не будет и толку. На меня она рассчитывает, меня она и в грош не ставит. Она считает, что руки у меня не из того места растут.

— Не из того? — обиделся я.

— Не из того, внучек, не из того.

— Ну так вот — будут у нас жерновки!

— Ой-ой-ой, спасите! — испугалась чего-то бабушка. — Где же ты их возьмешь? Украдешь, что ли?

— Сам сделаю. Вот увидишь.

Она швырнула на печь торбочку с ячменем, который носила куда-то молоть, да не смолола, и не сдержалась — еще раз меня подколола:

— Гляди, как бы и крупорушку вдобавок не сделал.

— Сделаю и крупорушку! — понесло меня. — Тоже мне хитрость — жерновки! Да мы с Санькой...

— Про вас с Санькой и куры шепчутся, — не дала мне договорить бабушка. — Вам только железяки эти в карманах таскать.

Железяки! Выходит, что и гранату в руки не возьми, и патрон не подними. А если взял да поднял, так ты уже и не человек — ветрогон. Мы ей с Санькой докажем, какие мы ветрогоны. Вот сделаем лучшие на все село жерновки, тогда она посмотрит.

— Посмотрю, посмотрю, — пообещала бабушка, но, видно по всему, ни единому моему слову не поверила.

В тот же день мы с Санькой взялись за дело. Сначала долго спорили, какие у нас будут жерновки: такие, как у дядьки Скока, или такие, как у Мамули.

У дядьки Скока жерновки — терка. Поглядишь, так там и делать нечего. Нужно только взять скамью и укрепить посередине ее небольшой столбик. Потом найти худое ведро, вырезать из него лист жести и гвоздем густо-густо набить в нем дырочек. Получится терка. Если этой теркой обернуть столбик и прибить ее — считай, что полдела сделано. Остается найти еще одно ведро, сделать еще одну терку и эту терку свернуть в трубу. А там уже раз плюнуть: надел ту колючую трубу на колючий столбик, прикрепил ручку и крути себе на здоровье. Зерно меж двух терок тотчас превращается в муку. Это тебе не в ступе.

Все эти хитрости нам в двух словах поведал старший скоченок — Лешка. Не успел он и носом шмыгнуть, как мы уже все поняли. Больше того — Лешка дал нам немного помолоть. Нам наука, а ему роздых.

Мы вскочили верхом на скамью, я — с одной стороны, Санька — с другой, ухватились за отполированную ладонями ручку, — и жерновки зашипели, затрещали, залязгали — прямо мороз по спине. Спустя какую-то минуту у нас взмокли лбы, и мы дышали так, что мука со скамьи разлеталась по всем сеням.

Тяжело идет мельница у дядьки Скока. Тяжело, зато работает споро: сколько мы там посопели, а целого совка зерна как и не бывало. Будем и мы делать терку.

Но бабушка быстро остудила наш пыл.

— Терка-хвороберка! — напустилась она на нас с Санькой. — Скамью я вам портить не дам. Не будет ни скамьи, ни жерновков. Мастера мне нашлись!

Но нас не так просто остановить, если мы что-нибудь задумали. Мы — народ упрямый. Не хочет бабушка терку — сделаем жерновки, как у Мамули. Вот взглянем, что они из себя представляют, и сами такие же сделаем.

Мамуля известен в округе как мастер на все руки. Самовар запаять, пилу развести, часы починить — все он может. До войны Мамуля работал на железной дороге и каждый вечер, возвращаясь домой, тащил что-нибудь такое: то колесо, то шестерню, то медную трубку, то связку гаек на проволоке. До войны у него был мотоцикл. Правда или нет, но говорили люди, что сам собрал. Когда Мамуля заводил мотор, он грохотал на всю деревню, как танк, стрелял, как пушка, и так окутывался дымом, что нельзя было разглядеть ни мотоцикла, ни его хозяина.

Мамулин Васька хвастался, будто его отец может сделать и самолет, дай только ему железо. Так стоит ли удивляться, что и жерновки его славятся на всю улицу? Каждый, кто на них молот, не мог нахвалиться: вот жерновки так жерновки — за полчаса фунтов пять можно накрутить. А если постараться, то и все шесть. И мука как настоящая.

Жерновки хвалили, а хозяина хаяли — живодер. Никто не берет за помол, а он берет. Сок с кастрюли. Да еще гайку там какую-то зажмет. Бабы надрываются, а ему смех:

— Зато мягче будет.

Мамуля нашего визита не ждал. Он сидел на завалинке и, положив на колодку гильзу от малокалиберного снаряда, дзынькал по ней молотком. Видно, делал коптилку, как их называют — «катюшу». Этими «катюшами» он даже торгует. Руки у него почему-то в мазуте, мазут и на носу. А нос у Мамули на семерых рос, да ему одному достался: мясистый, длинный и немного на боку.

— Молоть? — спросил Мамуля, не отрываясь от работы.

— Молоть, — соврал Санька. Мы боялись, что так просто он не даст разглядывать свои жерновки.

— А чего ж с пустыми руками? — поднял он наконец на нас глаза.

— Там бабушка несет, — не растерялся я.

— А-а-а, — протянул он и, снова занявшись гильзой, буркнул нам вдогонку: — За помол не забудьте... Тетка покажет.

— Ладно! — пообещали мы и шмыгнули в сени.

Жерновки работают на полном ходу. Деревянный жернов, выточенный из толстой колоды, усердно крутит Глекова Настя. Платок у нее сбился на затылок, лицо покраснелось, по лбу и щекам бегут ручейки грязного пота. На скамье — очередь.

«Грум-грум-грум», — выговаривает жернов, и по лотку, сделанному из консервной банки, течет в миску тоненькая струйка муки.

В сенях сумеречно, и мы не сразу заметили, что Катя тоже здесь. Вцепившись в ручку, она раскачивается взад-вперед над жерновками и не столько, по моему, помогает, сколько мешает матери. Увидав нас, она и вовсе перестала крутить.

— Не разевай рот, — цыкнула на нее Настя, и жерновки загрузили еще чаще. Настя без усталости крутит и крутит их с каким-то сосредоточенным упорством и злостью.

Грум-грум-грум...

Таким спецам, как мы, стоит одним глазом глянуть — и все понятно. Ничего в этих жерновках особенного нет: снизу деревянный кругляк, потом ободок, как в решете, чтобы не рассыпалась мука, сверху — второй кругляк с дыркой посередине, куда засыпают зерно. Правда, сделано все аккуратно, заподлицо. А в остальном больше разговоров, чем толку. У нас с Санькой, может, и не хуже получится.

Гордо глянув на Катю, мы молча, с независимым видом вышли из сеней.

Жерновки мастерили целую неделю. Первый день пилили тупой, неразведенной пилой сырой березовый комель. Не пилили, а мучили. На колоде сидел Глыжка, и мы по очереди кричали на него, что плохо держит. И правда, бревно крутилось под ним, как живое. Вдобавок ко всему, ручки у пилы усохли, то и дело выскакивали, и тогда мы — то Санька, то я — летели чуть ли не через весь двор. Санька один раз шлепнулся в лужу, а я едва не проломил головой забор. Глыжка помирал со смеху, пока не схлопотал подзатыльника. Нашел над чем смеяться.

Бабушка глядела-глядела на нас в окно, не выдержала и пришла на подмогу. Она уселась на комель рядом с Глыжкой, стала подавать советы — где прижимать пилу, а где пускать свободно. Дело пошло веселее.

Отпилив первый жернов, мы посмотрели на него и плюнули. Это у Саньки такой косой глаз. А Санька считает, что у меня оба глядят не туда. И такой тут разгорелся спор, что бабушка за голову схватилась:

— Не нужно мне ни ваших жерновов, ни крупорухек — только умолкните.

А на другой день еще не то было. Нашли мы длинный железный прут, раскалили его в печке докрасна и стали прожигать дырку в жернове, чтобы, значит, потом сыпать туда зерно. В хате дым, в сенях дым. Бабушка бежит за нами то к печке, то от печки и кричит караул. Она уверена, что если немцы не сожгли хату, то мы наверняка сождем. Дымом пустим и головешек не останется.

Она думает так это просто — сделать жерновки. Да еще такие, как у Мамули.

По нашим с Санькой расчетам, железный прут должен был пронизать жернов насквозь и выйти аккуратно посередине. А он вышел черт знает где — на целую пядь в сторону. Кто виноват? Глыжка. Говорили ему: смотри, ровно ли. Насмотрел!

А потом сени превратились в кузню. Глыжка разыскивает нам на пожарищах, на помойках, на чердаке за трубой старые дырявые чугуны. Санька на обухе дробит их в черепки, я забиваю черепки в жернов. А то как же? Деревянные жернова, если не назабивать в них чугунных черепков, молоть не будут. У кого угодно спросите: у Мамули, у дядьки Скока, у деда Николая, у старого или у малого — это любой вам скажет.

Стук, грохот, скрежет, лязг с утра до вечера на всю улицу. И вся улица знает, что мы делаем жерновки. Это Глыжка разнес. Кто ни спросит, зачем ему дырявые чугуны и что это у нас за грохот, он всем докладывает:

— А это мы себе жер-рновки делаем.

Бабушка, правда, так не хвастает. А если кто из соседей проявит любопытство, она только рукой махнет:

— А, второй день чертям бобы молотят.

Эта молотьяба утихает разве лишь в том случае, если или Санька, или я, угодив себе по пальцу молотком, бросаем инструменты и принимаемся плясать от нестерпимой боли. Но палец — это чепуха. Вот чугунный осколок из-под молотка — другое дело. Особенно, если он, как Саньке, шарахнет возле самого глаза. И водой мыли, и мокрую тряпку прикладывали — ничто не помогло. Бровь раздуло, глаз красный, как у вурдалака. Так он и домой пошел, закрывши глаз обеими руками, будто боялся, что он выпадет по дороге и потеряется.

Больше Санька в сооружении жерновков не участвовал. Мать завязала ему глаз белым платком и наказала, чтобы ко мне ни ногой.

— Тот сорви-голова тебя доведет, слепым на всю жизнь останешься.

Сорви-голова — это я. Тетка Марфешка уверена, что все Санькины несчастья из-за меня. Я его добру не научу, и — даст бог — она нас разведет.

Даст ей бог нас развести или нет, проживем-увидим, а вот что Санька несколько дней, в том числе и сегодня, у нас во дворе не показывался, так это его счастье. Сегодня с самого утра бабушка долго и озабоченно топталась по хате, заглядывала под скамью, под печь, обшарила все сени, а потом спросила у нас с Глыжкой:

— Хлопцы, вы чугуна не видели?

— Какого?

— Такого! Того, что со щербинкой, в котором я лапоники расчиняю.

— Нет, не видели.

И тут я вспомнил: что-то Глыжка сегодня больно быстро нашел материал для черепков. Да и бабушка сразу смекнула, что к чему, и такое тут началось, хоть святых выноси. Она так и знала, что добром это не кончится, что от нас всего ждать можно. Но чтоб до такого вредительства дело дошло!.. Нет, скажи ей кто-нибудь — не поверила бы. Вот она возьмет сейчас веревку да покажет нам и жерновки, и крупорушку! Наше счастье, что у нас молодые ноги.

По всему приходит конец. Вот и мы забили в жернов последний черепок. Стоим с братом и любимся: неужели это мы сами сделали?! Может, кому-нибудь и взбредет в голому хаять наши жерновки, особенно по сравнению с другими, но для нас они — чудо техники. Вы не смотрите, что нижний жернов наклонился влево, а верхний — вправо, что обод с одной стороны вспух, как

чирей, что все жерновки словно чертями обглоданы (на той колоде в своё время рубили дрова). Вы посмотрите сперва, как они будут молоть, а потом уж и говорите.

— Баб, неси ячмень! — нетерпеливо крикнул я. — Да побыстрее!

У бабушки уже на сердце немного отлегло, она вышла на мой зов и была потрясена. Долго разглядывала мою работу с одной стороны, потом с другой и наконец спросила:

— Это и есть жерновки?

— А ты что думала — пулемет? — обиделся я.

— Сколько живу, таких не видела, — призналась бабушка.

Первую горсть ячменя я засыпал сам, чтобы показать, как это делается. Все затаили дыхание.

— Ну, кр-р-рути! — не выдержал Глыжка.

Я крутнул. Между кругляками что-то треснуло, потом скрежетнуло, как ножом по сковороде. Глыжка так и отскочил.

Жернова вели себя странно: они ходили из стороны в сторону, терлись и бились о стенки обода. Из лотка густо посыпалась чугунная дробь и забарабанила по дну миски, поставленной под муку. Наконец скрежет и треск перешли в шипение, и с жестяного лотка брызнула белая струйка.

Бабушка глазам не поверила. Она схватила миску и бросилась к двери посмотреть на свет.

— Трет! — не могла она сдержать радости.

Правда, мука была пополам с сечкой, попадались даже целые зерна. Но когда ячмень хорошенько подсушили в печи, дело пошло на лад.

Эй, давай — не задерживай! Крути-верти! Чихать мы хотели на Мамулины жерновки! Дулю ему, а не за помол! Мы и сами с усами.

Бабушка сбросила «хренч», чтоб не мешал молоть, и все не могла намолотья. Она с легким сердцем простила нам чугун и, что случилось не часто, похвалила нас с Санькой:



— А ведь молодцы хлопцы!

— Кособокие малость, — из скромности вздохнул я, поглядывая на дело рук своих.

— Из них не стрелять! — утешила меня бабушка.

Теперь мы горя не знаем: мелем сами и даже соседки начали пускать. Соседи тоже расхваливают и жерновки, и меня.

— Толковый у тебя хлопец, Матрена, башковитый.

Я хожу руки в брюки и даже не оборачиваюсь, будто речь вовсе не обо мне. Жаль только, что Санька всего этого не слышит.

А Санька легок на помине, примчался, не успела мать снять повязку. И ничего с его глазом не случилось. Какой был зыркастый, такой и остался. Только синяк светит на всю хату.

Мы сидим за столом, едим бабушкины лапоники из «крухмала» с ячневой мукой за обе щеки оплетаем, Саньке и проглотить некогда. С полным ртом он рассказывает, что наши заняли Крым и немцев утопили в море чуть ли не целый миллион. Ховре об этом муж в письмо написал, а она Санькиной матери рассказывала.

Бабушка слушает молча. Она шамкает и шамкает беззубым ртом — корочка попалась такая, что никак не разжевать. Наконец это ей надоело — выплюнула на стол, и все мы диву дались: корочка звякнула, как железная оглядели — чугунный черепок из жерновков.

— Так вот почему я раскусить не могла! — догадалась бабушка и сказала, что теперь она будет муку просевать.

Бабушкины беседы с богом

Погорельцы, зимовавшие у нас в хате, дождались тепла, разошлись по своим пепелищам, на свои огороды и принялись копать землянки. Первыми ушли старосельские, а за ними и соседка тетка Фекла со своей беспокойной, драчливой оравой. Осталась одна Мирониха — бабка Гана. Куда ей податься одной при ее годах. Да и пепелище ее рядышком — все из окна видно: и труба, и обгорелое шуло, у которого немцы застрелили деда Мирона, и подрезанная снарядом груша-спасовка, из-за которой дед все собирался попотчевать нас с Санькой крапивой.

Разошлись погорельцы — тихо стало в хате. Бабушка облегченно вздохнула: не ревет и не гарцует, не морочит голову Феклина орава, не ссорятся женщины из-за места погорячее в печи. Теперь у печи хозяйничает одна Мирониха, а наша бабушка стала ходить на работу в колхоз. И хотя бригадирша ничего не сказала бы, случись ей не выйти раз-другой, она ходит изо дня в день. Боится, что без нее не засеют поля, и тогда народ поскачет и посвищет и кулак. А как народ, так и мы. Это не шуточки, когда земля гуляет.

Ходить-то бабушка в колхоз ходит, а свои трудодни записать не умеет. Она совсем неграмотная. Ни единого дня в школе не училась. Из ее рассказов мы знали, что не успела только подняться от земли, как пошла к богатеям хлеб зарабатывать. Вот и не может теперь ни одной буквы ни написать, ни прочесть. Все это кажется ей такой премудростью, от которой свихнуться можно.

Нас с Санькой она как мужчин и хозяев ни в грош не ставит, зато считает первейшими грамотеями. Живи мы в ту пору, когда она была молода, поели хлеба, да еще с маслом. Я был бы не меньше, чем волостным писарем, брал бы с мужиков за письмо по рублю или по лукошку яиц. А с того, кому нужно жалобу написать или прошение какое, и вовсе бы шкуру драл.

— Не драл бы!

— Был бы писарем — драл бы, — упрямо стоит бабушка на своем. — Все они драли.

Это что касается меня, а насчет Саньки бабушка думает и того лучше. Тот бы, наверно, выучился на попа иди на ассессора. У него голова лучше моей варит.

Ни одной буквы бабушка не знает, а считать умеет и по пальцам, и в голове. Она сама ведет учет своих трудодней. Придя с работы, достает из-за образов клочок обоев и, склонив набок голову, что-то старательно чиркает там огрызком карандаша, а потом снова прячет свою писанину за иконы. Записей тех никто не может прочесть, кроме нее самой.

Но со временем я разгадал секрет бабушкиной тайнописи. Секрет несложный: большая палка — трудодень, поменьше — половина трудодня, а совсем маленькая — четверть. И выходит у нее точнее, чем у нашей бригадирши.

Однако записи записями, а бабушка, видно, больше надеется на свою память. Однажды, чтобы убедить ее в пользе грамотности, я достал из-за иконы ее «табель» и стер один трудодень. Интересно, заметит она недостачу или нет? Если не заметит, так уж и быть — признаюсь.

На другой день, когда бабушка села «писать», мы с Глыжкой, хитро посмеивались, следили за нею из-за трубы. Вот она разгладила на столе бумагу, послюнила карандаш, склонила набок голову, даже высунула чуть-чуть фиолетовый от карандаша язык, вывела жирную палку и залюбовалась своей работой. Вдруг видим — бабушка нахмурила лоб, пересчитала что-то на бумажке пальцем и недоуменно пожала плечами. Слышим, разговаривает сама с собой:

— В понедельник грузила навоз... Та-ак. Во вторник копала под картошку — есть день с половиной. А что ж это я в среду делала? Ага, семена собирала по хатам. А где же мой день? Вот память — что решето...

И бабушка тут же нарисовала еще одну палку. Так мой довод в пользу грамоты повис в воздухе. Больше того, поглядев нам с Глыжкой в глаза, она смекнула, в чем тут дело, и покачала головой:

— Дурные и не лечитесь. Вам шуточки, а мне за эту палку нужно день-деньской спину гнуть.

Несколько раз я брался научить бабушку хотя бы расписываться, но все мои попытки ничего не дали.

— Куда мне учиться, мой внук? — вздыхала она. — Пока я эту грамоту одолею, уже и помирать пора. А на том свете и так ладно будет.

Как я её ни уговаривал, как ни просил, она свое:

— Отстань ты, смола! Мозги у меня уже старые. Хочешь, чтоб они вовсе высохли?

Мои рассуждения по поводу того, что невежество — это темный лес, прямо-таки выводили её из себя.

— Отцепись, кому говорю! Мне с твоей науки хлеб не валится в руки. Стану я тут тебе писать, когда в хате нечего кусать. А коли ты такой светлый, шел бы лучше ведро воды принес.

На этом все и кончилось.

Странные у бабушки отношения с богом. Вообще, она считает, что бог где-то там есть, да, видно, он из ума выжил. Разумный бог никогда бы не допустил на земле такого. И говорит бабушка о нем, как о близком и добром знакомом, чуть ли не о соседе:

— То ли он там самогон пьет, то ли он там спит, лихо его ведает. Ну, взялся быть богом, так правь. А то как тот старый Агей: совсем в детство впал.

Я никогда не видел, чтобы бабушка крестилась или молилась. Поминать бога иной раз поминала, а молиться — нет, не водилось за нею такого. Женщины, что у нас зимовали, частенько отбивали перед нашей богородицей поклоны, старая Мирониха шептала по вечерам «Отче наш» и «Верую», а бабушка и молитвы-то ни одной не знала. В молодости еще кое-что с пятого на десятое помнила, а теперь — хоть бы словечко, все вышибла из памяти эта вечная работа, эти вечные заботы.

— Ну, помолилась бы хоть так, как умеешь, — уговаривали ее женщины.

А бабушка в свою очередь им вопрос:

— Что он мне за это — торфу мешок принесет? Если б принес — помолилась бы.

Когда мы жили одни, без чужих людей, никому не было дела до того, что у бабушки с богом свои счеты. Никто об этом не знал, никто об этом ничего и не говорил. А теперь пошла слава среди старух по всей улице:

— Слыхали? Тетя Мотя из-за стола вылезет и лба не перекрестит!

— Не может быть!

— Сама, милые, видела.

Потому, видно, и примчалась к нам однажды Чмычиха. Черный платок так повязан, что чуть глаза видать. А глаза такие ехидные и голосок масляный:

— Добрый денечек вам в хату. Хлеб да соль.

— Садись с нами обедать, — пригласила бабушка монашку. Пригласила, видно, скорее ради приличия, потому что у нас у самих миски были не полные.

— Спасибо, — отказалась Чмышиха. — Только что от трапезы. Решето я пришла попросить. Мучицы бог послал, нужно просеять.

— Добрый у тебя бог, — без зависти сказала бабушка, вылезая из-за стола.

Смотрит монашка — не перекрестила старая лба — и завела антимионию:

— Неужто и впрямь не веруешь?

— И ты туда же! Тебя только тут не хватало. Верую — не верую, не твоей голове болеть, — довольно резко ответила бабушка.

А Чмышиха талдонит свое:

— Ты же стара совсем, помрешь — на том свете бог спросит.

— На том свете всем одна чарка будет — и праведным, и грешным.

Монашка так и побелела вся:

— Ну, знаешь...

— Что я знаю? — с нарочитым вниманием переспросила бабушка.

— Не нужно мне ни решето твое, ни сито!

— Не хочешь — как хочешь, — не стала набиваться бабушка, и монашка, бормоча что-то о небесных карах, хлопнула дверь.

А бабушка долго не находила себе места. Знает она их, этих святош. Как колышки от помидор в колхозе красть, как за иконы у итальянцев лошадей покупать — это не грех. А тут, видите ли, душа у них болит. Она без них с богом разберется. Если он не слеп, так и без них увидит, где брито, а где стрижено.

Так и закрепилась за бабушкой слава великой грешницы.

Но однажды...

Было это, когда от отца пришло второе письмо. Раньше он писал, что лежит в госпитале с таким ранением, после которого, видно, отпустят домой. Бабушка радовалась, ждала его со дня на день, и вдруг приносят новый солдатский треугольник. Никто отца и не думает отпускать домой. Попались хорошие врачи, вылечили как следует, и какая-то комиссия признала его еще годным.

— У него все не как у людей. Такая уж удача, — нашла бабушка виновного и вздохнула: она-то думала, что передаст нас с рук на руки, а сама хоть на тот свет, на покой.

И вот в тот день я подслушал, как она беседовала с богом. Было уже поздно, Глыжка, свернувшись калачиком, сладко посвистывал носом, а мне не спалось. Лезет в голову всякая всячина: война, незасеянный огород, который и засеять-то нечем, и Глекова Катя стоит перед глазами. Она и не думает покаяться, все досаждаёт нам с Санькой.

И вдруг я слышу:

— Ты послушай, что я тебе скажу, господи...

Сперва показалось, что бабушка ко мне обращается, только странно было, почему она меня так зовет: «господи». Поднял голову — перед образами стоит.

— Ты пойми меня, господи. Мы с тобой, слава богу, в годах, да и в каких еще годах. Так кто ж и посоветует друг другу, если не старики? Поди, и самому нелегко на старости лет с этими людьми. И не столько с людьми, сколько с нелюдьми. Наплодил ты на свет разных гитлеров, а теперь, видать, и сам не рад...

Все это начало меня забавлять. Но бабушкин голос звучит так серьезно, так проникновенно, что смеяться я не могу — неловко. Она долго высказывала свое сочувствие богу, а потом дала ему несколько советов, словно бы начала поучать, как ему быть там, на небе.

— Много молитв идет к тебе, господи. Сразу, поди, и не разберешь, которая от сердца, а которая от хитрости. Так я тебе вот что скажу: не больно-то слушай соседку мою, Чмышиху. Притворяется она святой, а брехать — не цепом махать. Обо мне что говорить станет — не слушай. Молиться я не умею, это правда. Да и то: когда мне молиться? Как набегаюсь за день — веришь ли, господи? — упаду и ног не чую. Да и что тебе мои молитвы. Ризу из них новую не сошьешь.

Тускло мигает маленький, едва живой огонек в лампадке. Ее всегда зажигает в ночь на воскресенье баба Мирониха. Из угла на бабушку строго и чуть-чуть вроде удивленно глядят святые, а она, маленькая, непричесанная, усталая, в неизменном немецком френче, рассказывает им про свое житье-бытье.

— Грех тебе гневаться на меня, господи. Сам знаешь, сколько живу — все сирот гляжу. Отца с матерью ты наших рано прибрал. Помнишь ту войну, когда я еще в девках ходила. С японцами какими-то. Вернулся батька, похаркал зимушку кровью, и перед пасхой схоронили. А мама у попа под

мешком пшеницы надорвалась. Легко мне было братьев и сестер кормить — четыре души?

Боги молчат. Бабушка вздохнула и тоже умолкла, о чем-то задумалась. И когда я уже решил, что эта необычная молитва кончилась, она заговорила снова:

— Замуж вышла. Ну, думаю, отдохну за мужней спиной. А оно пошло — что ни год, то удод: Ефим, Марина, Степан, Одарка. Да еще померло трое. Мало тебе их было — и мужика прибрал. От испанки он помер, господи, в ту войну с немцами. Вот тебе и снова сироты. Мед мне был? Это только, кто не знает, скажет. А теперь ты мне и дочериных оставил...

Бабушкин голос перешел в шепот, горячий и торопливый. Она словно бы боялась, что у бога не хватит терпения дослушать ее:

— Оставил ты их без матери, не оставь без батьки. Об одном прошу тебя, заклинаю: Кирилл, зять мой, на войне, и ты сам слышал, что он пишет в письме. Не отпускают его домой. Так погни ты, господи, ружья гитлерам, отсуши ты им руки, ослепи глаза, чтоб не попали они в зятя. И ера планы ихние поломай, и бомбы ихние попорти...

Тут уже я на печи не выдержал и тихонько хмыкнул: нашла бабушка диверсанта. А она повернула голову, строго так глянула в мою сторону и зашептала снова, но уже тише:

— Ты же только смотри там, — предостерегала она бога, — Кириллов у нас в Подлюбичах вона сколько: Кирилл Цыган, Кирилл Назаров, Кирилл Лебеда, которого Перепелкой кличут, и Язепова старшего хлопца Кириллом зовут. Все они люди хорошие, защити их и смилуйся над ними. Но коли неуправка у тебя будет, ты больше за моим присматривай — не осироти вконец малых, неразумных. А еще, господи, не трожь ты меня, пока сам с войны не придет...

Напоследок бабушка богу пообещала:

— Ты не бойся, вернется — я здесь не задержусь. Вот тогда делай со мною, что хочешь. Ничего я уже не боюсь, всего на этом свете навидалась.

Закончив такими словами молитву, бабушка вдруг накинута на меня:

— Все увидят зенки твои лупатые. В кои-то веки душу отвела, так и тут без него не обошлось.

Что правда, то правда. Никогда бабушка не молилась до этого, и после этого я больше не слышал. Так и живет безбожницей. Все ходит и ходит в колхоз, боится, что без нее поля не засеют и земля будет гулять.

Тетина хата

Сошла с луга вешняя вода, и стали люди бегать за щавелем: девчата, женщины, хлопцы. Выйдешь за огороды, посмотришь на Великую гриву — в глазах рябит от платков и рубаш. Бабка Гапа варит щавель в большущем чугуне. Вылезем с Глыжкой из-за стола — животы у нас, как барабаны, огромные и тугие, хоть ты на них гвозди ровняй, а есть все равно охота.

Кроме щавеля на лугу растет дикий чеснок. Пока молодой, он не такой уж и горький. Мы его носим домой снопиками и на лугу едим сколько влезет. К вечеру от этого чеснока все во рту деревенеет, покажем друг дружке языки — зеленые.

Иной раз удастся найти яйца дикой утки или хоть чибиса — по-нашему, кани. Хлопцы опускают их в воду и смотрят: свежие или насиженные? Если свежие — берут, насиженные кладут назад в гнездо.

Есть и еще кое-что на лугу. Всю прошлую осень немцы сидели на городище, на Заглиницком холме, а наши стояли внизу. Теперь здесь, в размытых паводком окопах, попадают патроны, гранаты, а в Долгом логу мы нашли целый штабель мин в ящиках. Мины были тяжелые, с крыльями на хвосте. Разумеется, мы не прошли мимо такой находки и бросили одну в костер. Бабахнуло так, что в селе услышали. После этого бабушка и сказала:

— Хватит, покормил. Бегай лучше в колхоз, а на лугу и в огороде я сама.

И вот всю весну мы бегаем с Санькой на работу в колхоз. Тут нами верховодит Нинка-бригадирша. До войны она была няней в колхозных яслях, и мы с Санькой еще тогда от нее натерпелись. И вот снова... Сперва Нинка послала нас с женщинами вскапывать лопатами поле под картошку. Покопали день-другой, обзавелись мозолями и отвернули носы: бабская работа, давай нам мужскую!

Бригадирша дала мужскую — навоз из хлевов выбрасывать. Но тут мужчины взбунтовались:

— Ну кого ты с нами поставила? Путаются под ногами, как вьюны, без толку. Только за вилы взялись — и уже языки набок. Убери, чтоб не мешали.



Да пусть бы уж мужчины были, как мужчины, а то дед Зезюлька. От старости едва ноги волочит, и тому мы не угодили.

— Тогда запрягайте, хлопцы, лошадей и айда ячмень бороновать.

Мы с Санькой чуть в пляс не пустились на радостях. Давно бы так, мы бы ей и в выходные, и в праздники работали. Еще бы, лошади! Прицепив борону, едешь верхом по улице, а малышня завидует, каждый подъехать хочет. Кнутом их, кнутом, тут и покалечиться недолго. На лошади — это самая что ни есть мужская работа. Лучшей не придумаешь.

Лошадей в бригаде немного прибавилось. Правда, немецкий битюг, не дождавшись молодой травы, окошел. Зато Нинка пригнала откуда-то из Гомеля двух других. Говорит, у какого-то командира полка выпросила. Вот этих битюгов и дал нам Петька Чижик, наш бывший одноклассник, — он теперь в бригаде конюхом. Видно, потому такой важный и неприступный, даже не улыбнется. Четырнадцать лет, а ворчит, как старик:

— Смотри, чтоб холку не натер. — Это он мне. Потом на Саньку: — Как ты седелку положил?! Что, первый день замужем?

Зезюлька одобрительно покивал головою:

— В отца пошел хлопец: любит скотину.

Еле мы отбоярились от того Чижики. Уже со двора выехали, а он еще крикнул вдогонку:

— Рысью не гоняйте, черти!

Так и разгонишься на них рысью, когда они с мухами сладить не могут. Мой так еще топает помаленьку, а Санькин вышел на загуменье и встал. Санька ему: «Но!», а битюг только головой мотает.

— То ли он по-русски не понимает, то ли еще что, — пожимает Санька плечами. — Но-о, пферд проклятый!

Так всю весну мы и не слезали с этих пфердов — лошадей по-немецки: бороновали, возили, окучивали. За день, бывало, так замотаешься, что едва ноги домой приволочешь, спишь потом, как пеньку продавши. Другой раз утром продерешь глаза, а бабушка с упреками:

— Ну и ну! Будила-будила — хоть бы голову поднял. Немцы же Гомель бомбили!

А то просто новость расскажет:

— Всю ночь селом танки шли. Неужто не слышал?

Она уверена, что если на печи поставить ту батарею, что за огородами стоит, да бабахнуть над самым моим ухом, я и тогда не проснусь. Что мне? Молод, здоров как бык, забот в голове никаких, — вот и сплю.

Но однажды я на работу в колхоз не пошел. Из-за тети Марины. Я и не завтракал еще, когда она прибежала к нам и, увидав меня, обрадовалась:

— Хорошо, что дома тебя застала, мой племянничек.

— А зачем он тебе понадобился? — спросила бабушка.

— Так я же хату строю, — похвасталась тетя, — а леса не хватает. Пускай бы глянул своим глазом. Все-таки мужчина.

— Мужчина! — фыркнула бабушка и ворчливо что-то добавила насчет кукол и тряпок, в которые будто бы я не прочь поиграть. Но это все наговоры. В куклы я сроду не играл. Просто у бабушки такой характер: делай жерновки, зарабатывай трудодни, а ей все мало, все жалуется, что нет в доме хозяина. Она боится, как бы меня там, возле тетиной хаты, каким-нибудь бревном не придавило, лес-хворобес и не таких калечит. Вон дядька Скок всю жизнь приплясывает.

Тетя пожила на своем веку в разных хатах. Вышла замуж — у свекрови года три по одной половине ходила. И хата была просторная, а тесно, потому что не своя. Потом дядя Андрей свою поставил. Место ему досталось в самом конце Заглипища. За двором сразу начинался луг, за огородом — болото, густые лозняки. Что луг недалеко, это чувствовалось по всему и в доме, и во дворе. На окнах у тети всегда стояли луговые цветы, в сенях сушились пахучие травы, во дворе — снопы длинной гибкой лозы, березовые жердочки. Прибежишь к тете поиграть, а у нее то свежая рыба, то пищит во дворе дикий утенок или подрезанный косой коростель — обязательно находилось что-либо интересное.

Славное было место, да уж больно глухое. Зимой как задует да как заметет со всех сторон, как навалит снегу под самые стрехи — по неделям на селе не показывались, пока люди не натопчут тропок.

Зимой тетя часто, забежав к нам в хату, не то хвалилась, не то жаловалась:

— Нынче к нам снова гость приходил...

Гостями она называла волков. Темными холодными ночами они частенько бродили возле их двора.

Помню, как-то я заночевал у тети. Едва все уснули (тетя говорила, что она и первого сна еще не увидела), как во дворе залаяла и завyla собака, забеспокоилась в хлеву корова. Дядя Андрей тотчас зажег лампу, накинул на плечи кожух, сунул босые ноги в валенки и с ружьем выскочил за дверь. Ну и ахнуло же ружье! А огонь полыхнул — прямо весь двор осветил.

— Ранил, кажется, — сказал, войдя в хату, дядя. — Трое их было. Один на крышу залез, холера.

Из-за этих «гостей» тетя Марина всю жизнь собиралась переселиться в деревню, поближе к людям. Да так до войны и не переселилась. А потом немцы добрались до ее хаты, порядок навели — и головешек не осталось.

Зимовала тетя у золовки. Снова чужая хата, снова чужая печь. Так это же ладно, пока все ладно. А случись что, куда денешься с детьми? А их вон сколько, мал мала меньше: Федос, Манька, Ганя, Коля; Федосу десять, а Коля и вовсе под стол пешком ходит. Как ни крути, нужно тете думать о своей хате.

Ее свекровь умерла в самую заваруху, три дня в хате лежала, пока спохватились. И хоронили так, что никто не слышал и не видал. Ни попа, ни поминок: пальба кругом. И остался ничейным старухин двор. Садик тоже был, старый, правда, но если досмотреть толком, можно бы и яблочко съесть. «Ну, — думала тетя, — уляжется бой — переселюсь в свекрухину хату. Место хорошее, людная улица. Буду уже там век вековать».

Но немцы и ту хату растащили. Осталось всего несколько венцов, ниже окон. Простенки по двору разбросали. А пока тетя заседала в Заглинице свой огород, исчезли и простенки. Это уже соседи, видно, погрелись. И тогда тетя отважилась:

— Будь что будет. Поживем, дети, в саду. Ночи теплые, в шалаше переспим, а к зиме хатенку слепим.

Детям это, известно, праздник: интересно спать в шалаше.

По утрам тетя топит уцелевшую печь, и вся улица видит, как она чугуны ставит, что у нее варится. Стен нет, печь во дворе. А тете и горя мало. Ожила она, расторопной стала, все в руках горит: завтрак готовит, курицу из проса вон гонит да еще и плотнику, глядишь, поможет.

Некогда ей руки опускать.

А дело-то хитрое — сложить из нескольких тех венцов целую хату. Мамуля, который не только в железе толк знает, но и топор ловко держит в руках, взялся было поставить сруб за мешок нового жита и пять мешков картошки, а потом пересчитал бревна и закрутил своим длинным носом:

— Ничего не выйдет, Марина. Не стоит и затевать.

А тетя подумала, что он цену набивает, и давай уламывать:

— Будто мне хоромы нужны. Ты сделай только, чтобы печь стала да кровать — и все. Два окошка: одно — сюда, другое — туда. Мне не танцевать...

— Ну, как хочешь, — сдался Мамуля, но предупредил: — Только уговор: не хватит лесу — все равно плата сполна.

И вот вчера он положил последнее бревно и воткнул топор в колодку:

— Шабаш! Я ведь тебе говорил.

Леса в самом деле на сруб не хватило. Только простенки между окнами вывели — и во дворе хоть шаром покати. А все потому, что бревна были гнилые. Тронешь с места — труха сыплется. Ну куда его класть — в сторону, в сторону.

— А зачем же ты так размахнулся? — возмутилась тетя, обойдя сруб. — Куда мне такое гумно?

Плотник лишь сплюнул с досады: было то «гумно» не больше нашего свинушника.

— Что же мне теперь делать, мой племянничек? — горюет тетя. — Был бы Андрей жив...

Если б да кабы, да росли во рту грибы, так был бы то не рот, а огород. Нет дяди Андрея, и говорить не о чем. Надо своим умом жить. И я приказал:

— Берите пилу, топор и веревку. Пойдем!

— Куда пойдем? — ошарашенно посмотрела на меня тетя Марина.

— В лес.

Мамуля покачал головой: ну и ну. В лес? За шесть километров? Дойти-то мы дойдем, а дальше что? Это, по-нашему, шуточки — сосну свалить? Да и дюжий мужик не пойдет в лес, сала не подъевши. Ну, скажем, свалили. А как ее приволочешь? На себе, что ли? Ни коня, ни вола Нинка ни за что не даст, потому что не одна на селе такая Марина. В колхозе куда ни кинь — все клин. Где ты всех пожалеешь?

Взяла тетя пилу и топор, веревки не нашла — моток немецкого кабеля прихватила. И пошли мы. Мамуля только глазами нас проводил. На его худощавом носатом лице было написано: «У бабы ум короткий, а дитя и вовсе ничего не смыслит. Что с них взять?»

Луг еще не скошен. По сторонам тропинки стоит густая, высокая трава, радуют глаз цветы: ярко-красная иванова кровь, голубые колокольчики. Кигикают над болотом чибисы. То и дело из под самого носа с шумом взлетают утки. Я вздрагиваю от неожиданности, а потом спешу к тому месту, где сидела утка, и шарю в траве. Напрасно, нет гнезда. Просто жируют.

— Может, вернемся? — время от времени повторяет тетя. — Ну что мы там сделаем? Что мы сделаем? Только людей насмешим.

Она уверена, что дальше Сожа нам путь заказан. Постоим на берегу, посмотрим, как там, за рекой, растет лес, и повернем назад. По правде говоря, меня Сож тоже беспокоит. Я-то переплыву, а тетя как?

— Что ты! — бледнеет она. — Я воды боюсь. Пойдем, мой хлопец, домой. Не вырос еще наш лес.

Чем ближе река, тем меньше уверенности, и у меня. Однако признаваться неохота. Дойдем хоть до воды, а там видно будет, что дальше делать.

Прозрачен Сож, как слеза. С берега все камушки на дне можно пересчитать. Поблескивают серебром пугливые стайки мальков. На изгибе реки, под крутым обрывом, вода гоняет кругами клочья пены, стебли аира, сухие ветки лозы. Плещут волны, подтачивают берег. С гомоном носятся над водою стрижи. Обрыв, будто пчелиные соты, весь в норах — там у стрижей гнезда.

Ничего этого тетя не видит, ничего не слышит. Где уж там, если на другом берегу стоит лес. Высокие, ровные сосны. Много сосен, а ей нужно всего несколько лесин, чтобы положить хоть два венца над окнами, чтобы поставить какие-никакие стропила. Всего несколько... Без них не будет у тети пристанища, снова иди по людям. А кому охота пускать ее в дом с такой оравой детей?

Чернеет на том берегу в устье старицы лодка, а вокруг ни души. Вот он, выход! Перегнать лодку сюда, перевезти тетю — и мы в лесу. Но тетя не согласна. Она не верит, что я переплыву Сож. А случись, избави боже, со мной беда, ей и хата та не нужна.

Я не переплыву Сож! Вы слыхали где-нибудь такое? Мы с Санькой, было такое дело, чуть Ситняг не переплыли, а он в пять раз шире реки. И если Санька тонуть вздумал, и если нахлебался вонючей воды, так ничего в этом удивительного нет — ослабели на пустом щавле. Нас вытащил за волосы Санькин дядька Харитон, дал каждому по тумачу и отпустил в полной уверенности, что наука пошла нам на пользу. И на другой день мы все-таки переплыли Ситняг!

Не переплыву Сож? Как бы не так! Я бросился с берега в реку, только брызги столбом. Тетя, как курицана-седка, которая водит утят, бежит по песчаной косе:

— Ой-ой! Вернись! Куда ты?

А меня подхватило и понесло. Нет, Сож — это не наш Ситняг. Здесь течение, здесь кручи. Вот и коса осталась в стороне, вот тетя выбралась на крутой берег, бежит вдоль Сожа, вопит:

— Плыви к берегу! Черт с ним, с тем лесом. Вернись! Вернись!

Добрый километр гнало меня вниз по течению. Нырнул напротив старицы, а схватился руками за лозу без малого у самых Плесов. И лодки той уже не видно, скрылась за поворотом.

Ухватился я руками за лозу, а ногами все молочу по воде, думаю — еще глубоко. А тут воробью по колено. Вот и все. А она говорит — я Сож не переплыву. Да мы с Санькой и через Днепр могли бы!..

Спустя полчаса и тетины страхи остались позади.

Когда приходишь в лес без топора и пилы, все деревья кажутся ровными и стройными. А теперь мы просто растерялись. Никак не выберем сосны по вкусу. То слишком низкая и развесистая, то очень тонкая, то такая толстая, что до вечера пилить будешь. А вот эта вроде бы и ничего, да валить некуда: обступили ее со всех сторон дубы и березы. Ходим мы по лесу, как хозяева, ищем самое лучшее дерево.

А славно в бору. Не печет солнце, пахнет смолой, щебечут в густых кронах птицы. Пестрый дятел примостился на высокой сухостоине и долбит сук. Как в барабан бьет. Частая дробь разносится по всей поляне, летят вниз мелкие белые пылинки.

Я так засмотрелся на того дятла, что не заметил ямы под ногами — ушиб колено, ободрал руку о кусты дикой малины. Это была не просто яма, а окоп. Возможно, партизанский. Сюда, видно, мне и надо было идти прошлым летом, когда я искал партизан, чтобы выручили Саньку.

Наконец мы нашли сосну в самый раз — не тонкую, не толстую, не кривую и не суковатую. Ударил я по стволу обухом — покатилося гулкое эхо, а за ворот посыпалась сухая хвоя.

— Ну, с богом, — сказала тетя. Мы поплевали на ладони и взялись за работу.

Начали легко, резво. Весело звенела пила, на густой мох брызнула розоватая, падучая крупа опилок. Но резвости нашей хватило ненадолго. Чем дальше, тем тяжелей и тяжелей ходила пила и наконец вовсе словно прилипла. Зашли с другой стороны — тоже не пилится. Пробовали подрубить, и это не помогло. Стоит себе сосна как ни в чем не бывало. Шумит в небе густая верхушка, а мы внизу обливаемся потом и ничего не можем поделать. А я-то думал, лес валят так: тюк-тюк — и готово.

— Нет, — сдалась тетя.

Да и я сам понял, что нет. Не одолеть нам этой сосны. Не за свое дело взялись. Поглядел я на тетю, и так мне жаль ее стало, хоть сам плачь, как плачет она, сидя на старом, обсыпанном розоватыми грибами-поганками пне. Плачет и размазывает по щекам слезы и грязный пот жилистой, в пятнах свежей смолы рукой. Плечи под белой от соли кофтой трясутся, до поры поседевшие, будто на них тоже выступила соль, волосы выбились из-под платка. И такие у нее глаза несчастные, что дай мне силы — я повалил бы ради нее весь этот лес.

— Давай еще, тетя, попробуем.

— Нет, мой племянничек, нет.

Так мы и направляемся домой с пустыми руками. Я иду вслед за тетей, и меня разбирает злость. На кого — и сам не знаю. Может быть, на Мамулю? Ему что, черту носатому? Ему еще лучше, что мы не напилили бревен: и сруб кончать не нужно, и плату получит.

По дороге мы с тетей пытались подступиться еще к одному дереву. Где там, нам так зажало пилу, что едва вытащили. Надо идти домой и помалкивать о том, как мы пилили лес. А то ведь и в самом деле будут смеяться. Моя же бабушка первая скажет:

— Ну и додумался, мудрый Соломон!

Хлопцы в бригаде тоже будут рады случаю позубоскалить. Я уже представляю себе, как они заведут:

— Расскажи-ка, Иван, как ты лес валил? Кузнец Вернидуб!

Лес-хворобес, говорит бабушка. Правильно говорит. Вроде, и недалеко зашли мы с тетей в поисках подходящего дерева, а назад едва выбрались. Да и то не туда, где оставили лодку. Тетя зашла по колени в воду — умыться, а я упал на траву под лозовым кустом и ног не чую, так находился. Ничего уже не хочу: ни бревна, ни рожна.

Кажется, мы набрали на переправу, по которой осенью шло наше войско. Самой переправы уже нет, ее снесло паводком, лишь у берега остались в воде толстые сосновые пали. А на крутом спуске к реке из-под песка виднеются там и сям кругляки. Верно, солдаты делали настил, чтобы не буксовали машины.

Я глазам своим не верю и про усталость забыл:

— Тетя, бревна!

Мы, как дурни, слоняемся по лесу, ищем вчерашний день, а тут все готовенькое — ни рубить, ни пилить, ни трелевать на собственном горбу к реке. Выкапывай и бери.

Бери, да не очень-то — надорвешься. Саперы их так скрепили, стянули железными скобами, будто на века наводили эту переправу. Да ведь и мы с тетей чего-нибудь стоим. Я вырубил дубовый кол с хорошую оглоблю, и дело помаленьку пошло. Руками, топором, чем придется мы сгребаем с настила песок, подсовываем под бревно кол, налегаем на него животами:



— Раз, два — взяли!

Подается!

Бревна, правда, не ахти какие: и коротковаты, и суковаты, большей частью верхушки, и измочалены гусеницами танков, побиты лошадиными подковами, да на такие палаты, как у тети, — в самый раз. Где надточится, где подтешется — и будет лежать.

Никогда в жизни мне не доводилось вязать плотов, но я так понимаю: захочешь — свяжешь. Особой хитрости тут не нужно, тем более когда под рукой немецкий кабель. Тетя колом скатывает бревна в воду, а я, подвернув штаны, без рубашки, привязываю их к двум жердям. Раз, два — и готово. Я командую — тетя слушается. Она целиком полагается на меня. У меня, как ни говори, мужской ум, и потому мне виднее, что делать.

Плот у нас получился что надо, хоть на край света плыви. Подо мной он лишь самую малость осел, а ступила тетя — вода по бревнам пошла.

— Не развяжется? — недоверчиво спросила она.

Я немного обиделся и потому ничего не ответил. Сто лет ничего с ним не случится, раз я вязал. Только вот плывет почему-то, куда ему самому вздумается.

Перепуганная тетя сидит посередине плота кочкой, шевельнуться не смеет, только шепчет что-то про себя. Может, даже молитвы. Мое крепление сразу ослабло, и бревна ведут себя довольно норовисто: чуть наступишь, оно уходит в воду. Но плот плывет!

Я гребу длинной жердью, а нас подхватило течение, медленно покружило на одном месте, потом вынесло на середину реки и погнало вниз, совсем не туда, куда нам нужно. Тетя уже и не рада, что села. Она считает: если это и кончится добром, все равно ближе Киева к берегу мы не прибьемся. Вот уже и лодка, на которой мы переправлялись, осталась далеко позади, и старое русло миновали, и нашей каменной школы на горе не видно. Но не так страшен черт, как его малюют. Возле Плесов, где река делает поворот, наш плот все же как-то прибило к берегу. Я думаю, тут не обошлось без моего весла, помогла все-таки жердь. Правда, высадка прошла не совсем гладко. Бревна под тетей разошлись, она очутилась в воде чуть не по шею и даже пискнула с перепугу. Но под ногами была уже земля.

Плот мы затащили в глухой заливчик, в заросли куги и аира, привязали к старой вербе и, радостные, побежали домой. Тетя прямо сама не своя от счастья, как будто даже помолодела. Теперь будет у нее хата, пусть небольшая, зато своя. Остался сущий пустяк — перетаскать эти бревна в село. Была бы лошадь, тут и голову ломать нечего, а без лошади, на самодельной тележке да еще без дороги, по лугу, — придется попотеть.

Тут наши с тетей взгляды расходятся. Зачем нам та тележка? Пойдем водным путем: из заливчика по канаве, которую проложил еще до войны колхоз, чтобы осушить Бурое болото, из канавы — в Грицев ручей, вытекающий из озера, из ручья — в Ситняг, а уже после этого — по суше. Там совсем рукой подать.

На лугу нам повстречался Санька. Он рвал щавель и луговой чеснок. И Санька тоже сказал, что по-моему будет лучше, чем по-тетиному. Он даже взялся помочь, лишь бы за ним утром зашли. И тетя снова согласилась. Нам, хлопцам, виднее.

Назавтра утром мы пришли к Сожу еще по росе. Тетя прихватила и своих старших — Федоса и Маньку. Какая ни подмога, а все подмога. Муравьи вон какие малюсенькие, а когда сообща возьмутся, горы ворочают.

Сперва все у нас шло как по маслу. У реки канава была глубокая. Мы развязали с Санькой илот, зацепили бревно за бревно — получился длинный караван. К переднему бревну привязали два конца все того же немецкого кабеля и идем себе, посвистывая, вдоль канавы — мы с Санькой с одной стороны, тетя с малышами — с другой. Красота! Тетя опять радуется и диву дается: головы у нас с Санькой прямо министерские. Она полагает, что если так и дальше пойдет, к обеду мы и руки умоем.

Одна только помеха — кусты. Сначала лоза и ракита. Продираясь сквозь чащу, я оцарапал до крови лодыжку, а Санька проколол на остром пеньке пятку. А потом стало и того хуже. Пошли крапива и репей. Крапива высокая, густая и жгучая. Руки, ноги у нас в волдырях и горят огнем. Но тетя говорит, что это не страшно. От крапивы, мол, ничего не будет, кроме пользы: лучшее средство от ломоты в костях.

А тут еще и канава стала мелеть. Все меньше в ней воды, все больше водорослей, все гуще осока. Но осока еще ничего, она не больно мешает, а водяной мох, тот цепляется за головное бревно, наматывается на комель огромным, тяжелым тулупом. Пройдешь шагов сто — и тулуп. Хоть из кожи лезь, с места не стронешь, хоть жилы порви. Правда, жилы у нас пока в целости, а немецкий кабель с нашей с Санькой стороны не выдержал, и мы

кубарем полетели в самую гущу репейника. Пришлось тете лезть в канаву, руками выдирать из-под бревна мох; выбрасывать на берег.

Она уже помалкивает. По всему видно, что к обеду мы рук не помоем.

Прошли немного — снова тулуп. Теперь полезли мы с Санькой. Воды в канаве на пядь, а торфяной каши — под мышки. Зашипела она, поднялась частыми пузырьками. И лягушки вокруг — огромные, зеленые, пучеглазые. Санька их не то, что боится, — просто не любит. Он выскакивает на берег, как заяц.

Сколько раз рвался немецкий кабель, сколько раз, повозившись с теми «кожухами», мы валились на траву от усталости! Вот и солнце уже садится за подлюбичские вербы, большое и красное.

Теперь вода в канаве кажется теплой, а вылезешь на берег — зубы лязгают, как у голодного волка.

Одна тетя еще храбрится. С тех пор, как началась особенно густая трава, она и не вылезает из канавы, бредет по пояс в торфяной жиже, вырывает проклятые водоросли и швыряет на берег. А следом уже мы волочем свой «караван» — с одного берега я, с другого — Санька. Тетиним муравьям уже и на том спасибо, что хоть сами идут.

В одном месте тетя едва не утонула. Попала в какую-то глубоченную яму, видно, в воронку от бомбы, не иначе.

Но все обошлось: ухватилась за бревно, а потом мы ей с берега руки подали.

До озера добрались, когда уже порядком стемнело. Мокрые, израненные осокой, перепачканные в торф и глину, мы с Санькой еле-еле дотащились до дома. Я и ужинать не захотел. Как свалился, так и уснул.

Мамуля потом только руками разводил:

— Неужто на себе?

Ему просто не верилось. По его мнению, такое только сдуру можно сделать. Разве взрослый человек на это отважится?

Но как бы там ни было — сдуру или от большого ума, — а стоит тетина хатенка. Нижние венцы и простенки черные, трухлявые, а над окнами светлеют на солнце новые, свежееотесанные бревна. И так уж тетя счастлива, так рада, так мила ей новая хатка, что нахвалиться нами не может. И еще тетя

не знает, в какой угол меня посадить и как потчевать. Кажется, что хочешь отдала бы в благодарность. Такой уж я племянник дорогой, такой хлопец золотой, что второго такого и не сыскать. Вот только на плот она больше со мною ни за какие деньги не сядет.

— Нет, нет, нет! И не заикайся, мой хлопец. Я тогда чуть со страху не померла...

Упырь

Утром возле Зезюлькиной хаты, пока бригадирша отправит людей на работу, чего только не наслушаешься. Особенно от Михейкиного Назара. После контузии у него руки трясутся, а язык все равно ловко подвешен. И голова у Назара светлая. Не голова, говорят люди, а сельсовет. Недаром же ему такую кличку дали — Министр.

Михейкин Министр все знает, все по-своему может объяснить. Это оттого, что он завел моду прочитывать газеты перед тем, как пустить их на раскурку. Даже прошлогодние и то глазами пробежит.

Конечно, на настоящего министра он не очень чтобы похож и одеждой, и с лица. Ходит Назар в солдатской гимнастерке, уже залатанной на спине и под мышками, в солдатском галифе. А обуви летом и вовсе не признает, как и мы, грешные, не министры. Нечего зазря сапоги бить, если и так тепло. Сапог порвешь — зашивать нужно, а ногу порежешь — сама заживет.

Лицо у нашего Министра худое, слегка побитое оспой, брови — два или три золотых волоска, которые не сразу и заметишь, зато глаза большие, глубокие и мудрые. И что еще, так это поистине министерский лоб. Говорят, будто на Назарову голову в солдатах шапки не могли подобрать. А старый Зезюлька сказал, что если б его шапкой меряли зерно на трудодни, никто бы горя не знал.

И вот, едва Министр устроится на завалинке, тут мужики его и обсядут со всех сторон. Цигарку помогут свернуть, а нет табаку — поделятся или покурить оставят. Бабы, особенно те, у которых мужья на войне, тоже ближе подходят, чтобы услышать, скоро ли конец лихолетью.

Ну, а нам с Санькой возле Министра, будто медом намазано. Не только ушами — ртами ловим каждое слово.

Обычно беседы начинаются вопросом старого Зезюльки:

— Ну как там, Назар, не взяли еще наши Могилева?

Спросит и ладонью глухое ухо надточит. Зезюльке Могилев не дает покоя больше, чем любой другой город. До войны его дочь вышла в Могилеве замуж, и теперь там у Зезюльки есть внуки. Беспокоится старый, как они там под немцем, бедные, вот и задает почти каждое утро один и тот же вопрос.

Министр, сидя на завалинке, водит кнутовищем по песку, рисует линию фронта. Он называет разные города, которые еще у немцев: Витебск, Оршу, Рогачев, Жлобин, Могилев. Кнутовище ходит в трясущихся руках, и линия фронта у Министра напоминает пилу.

— А где же мы? — спрашивают у него. — Подлюбичи наши где?

Министр тычет кнутовищем в песок, и все видят, что от нас до фронта не так уж и далеко. Если б я или Санька наступили на его изображение, то пятка была бы в Рогачеве, а пальцы — в нашем селе. А тут, говорят, пешком идти нужно два дня.

— Ох, и близко же! — пугаются женщины. — Скорей бы наши их поперли.

Известное дело, попрут. В этом Министр так убежден, что готов дать голову на отсечение. Теперь наша сила, теперь у них кишка тонка. Дружок Гитлера, итальянский правитель Муссолини, смуссолинился, места в своей Италии не находит. Допрыгается и Гитлер.

Сидит Назар на завалинке в окружении всей бригады, трясет перед носом сигаркой, пока в рот ею не угодит, и мудро так рассуждает. А чего не порассуждать, если он все на свете знает. И о землетрясении, и о том, что есть такая страна, где солдаты ходят не в брюках, а в юбках. Все хохочут, не верят, а он доказывает, что есть. От него мы с Санькой узнали, что в Японии горы называются ямами. Скажем, по-белорусски было бы Фудзи-гора, а по-ихнему — Фудзи-яма. Каких только чудес на свете не бывает!

Если благодаря Министру мы хорошо знаем, что делается на фронтах и вообще во всем свете, то о внутреннем положении часто слышим от Нинки, да и сами не слепые. Рожь нынче будет очень хороша, если не поляжет или град не побьет. Правда, на высоких местах она редковата, а в ложбинах сорняков много. А ячмень совсем сурепка заглушила — все поле желтое.

Половина картошки останется неокученной. Рук в колхозе нехватка. И тягла тоже.

Во второй бригаде, в той, что на Хуторе, лошадь пала, а в нашей на прошлой неделе кобыла Слепка ожеребилась.

На сенокосе всем косарям будут бесплатно давать обед.

Нинка говорит, сам Дьяк обещал — председатель колхоза. Если так, то и мы с Санькой пойдем косить.

К старой школе навозили бревен. Говорят, солдаты целый «студебеккер» пригнали, аж земля гнулась. Теперь там стоят высокие козлы и пришлые плотники распускают бревна на доски. Один стоит на козлах, а другой снизу, под бревном. И как ему только опилки глаза не запорушат? Председатель сельсовета, наш сосед дядька Скок, хвастался, что у него кровь пойдет из носу, но школу к осени отремонтируют.

Московские врачихи, зимовавшие в Санькином доме, недавно уехали домой. Делать им тут больше нечего. Сыпняк отступил. Санька их сам на станцию отвез на Буянчике. Вот смеху было, когда по дороге потерялась чека и свалилось колесо! Санька сам поднимал-поднимал телегу и не поднял. Тогда он и скомандовал:

— Ну-ка, беритесь!

Врачихи взялись за ось. Оси-то в черной мази, а у них ногти лаком покрыты. Санька говорит, стоило поглядеть...

Вот, пожалуй, и все внутреннее положение, если не считать разговоров про какого-то упыря.

Упырь — это такой покойник, которому не лежит в гробу, и вот он ночью откапывается, вылезает из могилы, ловит живых и пьет их кровь. На нашем погосте таких беспокойных покойников нет. Завелся он возле старого кирпичного завода. Знаете, где это? Нет? Тогда послушайте.

От нас в город идти можно двумя дорогами. Можно по шоссе, мимо дома дорожного мастера, через деревню Пруды, а там уже и город. Хорошая и многолюдная дорога. Тут тебя иной раз обгонит военная машина или Мамуля на велосипеде: он снова работает на железной дороге. И попутчик тут всегда найдется.

Вторая дорога в город — лугом. Бежит тропинка по-за озером Ситняг, мимо заброшенных глиняных карьеров, заросших аиром, через железнодорожную насыпь, снова лугом мимо разрушенной бойни, по болоту и прямо к

элеватору. От элеватора до базара рукой подать. Протоптали тропинку женщины с кошелками. Эта тропинка хороша тем, что по ней и ближе, и мягче идти, не собьешь ноги о булыжник.

Сразу за озером, слева от тропинки, если идти в город, и справа, если возвращаться назад, и есть тот самый кирпичный завод. Труба давно обрушилась, печь вросла в землю, на кучах битого кирпича растет полынь да греются на солнце ящерицы. Рядом с заводом — старая могила, над которой стоит покрытый зеленоватым лишайником дубовый крест. Помню, до войны на кресте висела икона с рушником. Теперь от рушника ничего не осталось, а икона превратилась в черную, истлевшую дощечку. Краска потрескалась на солнце, лик святого смыли дожди.

Кто лежит под тем крестом, я толком не знаю. От Чмычихи-монашки слышал, будто похоронен там божий человек, святой паломник, который шел в Киев поклониться тамошним мощам да и умер в дороге. А отец когда-то говорил, что никакой не паломник, а конокрад — убили его подлюбичские мужики кольями. Я больше верю отцу, чем монашке. Да и недавние события подтвердили, что покойник скорее всего был конокрадом. Божий человек, поди, не стал бы упырем.

Первой про упыря прознала Чмышиха. Она клялась и божилась, что видела его собственными глазами. Было это будто бы так. В воскресенье пошла она на базар продавать щавель. Целый мех нарвала, чуть глаза не повылазили, пока доперла. На базаре поскупилась пустить подешевле, просидела чуть не до вечера. Но продала все-таки не худо. Слава богу, щавель сейчас в цене. Потом долго моталась по ларькам, по рынку: ни к чему не подступиться, ничего не докупиться, ни на ком креста нет. Купила всего один стакан соли да четвертушку конопляного масла и пошла домой.

— И вот подхожу к тому месту, — рассказывала она потом у колодца, — гляжу, под крестом что-то шевелится. Так у меня мурашки по спине и побежали. А он поднимается — ой, страх божий! — глаза горят, как у волка. Прошептала я молитву, да, верно, грех на мне есть — не помогло. Бросила я мешок и бежать. Так уже бежала, так бежала, думала — сердце выскочит. Упырь это был, мои милые, ей-богу, упырь! Нужно нам откуда ни есть попа привезти да над могилой службу отслужить, успокоить его душу.

Сперва монашке никто не поверил. Всех ее сплетен не переслушаешь. А потом упырь нагнал страху и на других женщин. Они тоже побросали кошелки и еле ноги домой принесли. Одна из них была жена Министра — Настя. Она-то врать не станет. Министр за безмен и туда, прибегает — ни кошелок, ни упыря.

У моей бабушки и на этот счет свое мнение. Она полагает, что тут не упырем пахнет. Мало ли на свете таких, что легкого хлеба хотят? Но как бы там ни было, а рано утром и вечером, в сумерках женщины больше не ходят ближней тропинкой в город. Разве что сыщется мужчина в попутчики: когда идут мужчины, упырь сидит тихо.

Со временем эти разговоры стали утихать.

И вот случись побывать в тех местах нам с Санькой. У бабушки вышли веники, и она послала меня нарезать вязанку полыни. А лучшей полыни, чем возле старого кирпичного завода, нигде не найдешь — высокая, ветвистая. Кроме полыни там после дождей растут шампиньоны — печерицы, по-нашему. Ох и вкусные же это грибы! Если наберешь их полную шапку, бабушка только спасибо скажет. В бога, в черта, в домовых и упырей мы с Санькой на мизинец не верим. Потому и пошли смело. Постояли на конокрадовой могиле. Оглядели все вокруг и решили, что упырь просто бабам примерещился. Если б он вылезал из могилы, здесь была бы земля свежая, или нора, или дырка какая. А тут ни норы, ни дыры — вековой дерн. Веников мы нарезали в два счета. Таковую вязанку сложили, что на плечи не взять без подмоги. А потом пошли ближе к развалинам завода посмотреть печериц. Ничего не нашли и заглянули в печь. Просто так, но привычке. Раньше, бывая в этом забытом богом месте, мы всегда играли в прятки. Заберешься в печь, а там сыро, мрачно, страшновато немного и ящерицы шмыгают. И мы, как ящерицы, по разным ходам ползаем. Залезешь в одну дыру, а вылезешь через другую. Здорово!

Правда, тут тебя может завалить камнями или кирпич откуда-нибудь скатится и — по голове. Такое уже было однажды с Санькой, кровью умылся. Да разве это нас остановит: очень уж славно и весело гоняться друг за дружкой по руинам. Санька — в печь, а я — из печи, Санька — за мной, а я — за груды камней, в полынь.

Но в тот день игры у нас не получилось. Сунулся мой приятель в печь и тут же назад выполз.

— Гляди-ка, — удивился он, — наш ход завален.

Пригляделись хорошенько — завален-то завален, да как-то странно: свод над головой целехонек, а в проходе куча камней, будто кто специально наносил. И ломаная железная дверь тут. Мы с Санькой ее еще прошлым летом чуть не к самому карьеру отволокли. Хотели в воду бросить, чтоб плюхнуло, да силенок не хватило. А теперь она снова здесь.



— Гм, — задумчиво произнес Санька, отряхивая колени от песка.

— Гм, — согласился я. — Неужели какие-то хлопцы тут баррикаду устроили?

Пожали мы плечами, призадумались на минутку, да только-то и делов. А тут ящерицу увидели. Санька прижал ей хворостиной хвост. Сама ящерица тут же скрылась в порке, а хвост оставила, и он извивается на песке, как живой.

Санька говорит, что у ящериц потом новые хвосты отрастают.

Так бы мы и пошли домой со своими вениками, если б в густой полыни не наткнулись на нору. Большая нора, пролезть можно. Не иначе как в печь ведет.

Санька хлопец горячий и любит биться об заклад. Канава ли по пути встретится, или собака на чужом дворе забрешет, Санька уже готов спорить, что он и канаву перепрыгнет и возле собаки пройдет.

Так и с этой порой: я говорю, что туда лезть опасно, а Санька — храбрец нашелся! — сразу мне руку сует:

— Спорим на твой ремень, что залезу! А-а, ремня жалко?

— Кому? Мне?

— Тебе!

— На! — протянул и я руку.

— Смотри же!

Он проворно встал на четвереньки, сунул в дыру голову и полез. Вот уже и спина его там, и ноги, только потресканные пятки торчат из норы. Плакал мой ремешок.

И вдруг Санька притаился, с минуту лежал без движения, а потом выскочил назад, как из бочки шпунт. Глаза круглые от страха.

— Там кто-то есть, — проговорил он шепотом.

Я усмехнулся. Просто Саньке стало страшно, вот и выдумывает.

— Кто-то там сопит, как во сне...

— А не храпит? — переспросил я и тоже сунул в нору голову. Лезть, правда, не полез, насторожил уши, прислушался. Ничего не сопит и не храпит. Тихо до звона в ушах. Я уже готов был посмеяться над Санькиными страхами, как вдруг... Вдруг кто-то в норе глухо закашлялся, как старый Зезюлька, когда хватит слишком большую затяжку самосада. Тут и я вскочил.

— Слушай, а если это тот самый... упырь? — высказал догадку. Санька.

Упырь не упырь, а лучше драпануть, пока не поздно. Кто его знает, что оно там такое. Еще и вправду выскочит, схватит и давай кровь сосать. А место глухое, от деревьев далеко, рядом лозняк — пока докричишься, пока дозовешься помощи, так всю и высосет.

Кто же там все-таки сидит, в разрушенной печи?

— Кто сидит? — переспросила бабушка, когда мы рассказали ей про свои приключения. — А лихо его ведает, кто там сидит. Может быть, тот, что кошелки у баб отбирает... А вам бы он и вовсе головы поскручивал, чтоб не совали куда не нужно...

Бабушка советует нам бежать в сельсовет. Там лучше нашего разберутся, там у людей головы — не чета нашим с Санькой.

Но мы колеблемся: идти — не идти? Еще не поверят, смеяться станут. Лучше всего самим подстеречь, а если повезет, то и поймать. Вот бы прославились! На все село. Пусть бы та Катя увидела, что мы с Санькой за хлопцы.

А бабушка нас гонит в сельсовет. Ей наша слава ни шла, ни ехала, лишь бы упырь нам головы не поскручивал.

В сельсовете полно народу. Говорят, лес на хаты давали, так не все еще разошлись, не все накричались вдоволь.

Мы до сих пор ни разу не видели Скока в сельсовете при исполнении председательских обязанностей. И вот увидели. Сидит он с начальственным видом за перепачканным в чернила кривоногим столом и старательно хукает на печать, будто отогреть хочет. Потом, прилепив ее к бумажке, внимательно рассматривает, что получилось. И все его здесь зовут не просто Захаром, а Захаром Ивановичем. Не начал ли он и впрямь нос задирать, как предсказывала наша бабушка? На улице Скок как Скок, а тут не подступишься.

Женщины думают пронять его слезами, а он обеими руками отмахивается:

— Знаю, голуба, все как есть знаю: муж на фронте, коз полон воз — деток, стало быть хата сгорела. Да вот нет больше лесу, весь разделили...

Женщины реветь того пуще, а Скок их успокаивает:

— Тише, бога ради. Будет лес. Всем будет. Только ведь это не по щучьему велению делается. Не все сразу. Слышите, гремит?

Все прислушались. Верно, откуда-то издали доносились тяжелые раскаты. Видно, фронт.

— А лес будет, — уверенно повторил Скок. — Тебе, Марья, в первую очередь выпишу...

Мы со своим «упырем» уже было и лезть к председателю раздумали, но он сам нас заметил.

— А вы что тут забыли? Тоже лесу хотите?

— Нет-нет, — успокоил его Санька, — у нас другое...

Оглянувшись на женщин, мой приятель подошел к самому столу, заговорщицки поманил Скока пальцем — дело, мол, секретное, — и когда тот перегнулся через стол, зашептал что-то прямо в председательское ухо.

— У вас в печи? — удивился Скок.

— Да не-ет, — отбросил секреты Санька. — На кирпичном заводе.

— Разберись ты с ними, голубь мой, — попросил дядька Скок участкового милиционера.

Участковый — Максим Колдоба. Это уже не молодой мужчина с Хутора. С виду не больно приметный, в сером измятом плащике и в солдатской выцветшей пилотке. Милицейскую форму ему еще не успели выдать. Но пистолет есть. Висит на ремне. Максим еще и вора ни одного не поймал. Он только отнимает у таких, как мы, хлопцев разные находки. Только найдешь что-нибудь стоящее, только стрельнешь разок — Колдоба уже тут как тут. Находку отберет и еще, если хочешь, уши натреплет. Он и теперь подумал, что мы с Санькой по доброй воле принесли какой-нибудь пулемет. А услышал про упыря — не поверил:

— А вы, хлопцы, не загибаете?

— Что вы, дяденька! — стал божиться Санька. — Сидит там и сопит...

— Кашляет, — добавил я.

— Тогда показывайте, — сказал Колдоба, и мы втроем двинулись в путь.

К самой печи Максим нас не пустил. Расспросив, где та нора, в которой мы с Санькой будто бы слышали что-то подозрительное, он велел нам возвращаться домой, а сам медленно пошел, приминая полынь, к куче битого заросшего кирпича. Возвращаться? Как бы не так! А что мы хлопцам потом расскажем? Нет, мы не такие, чтобы, обнаружив упыря, не поглядеть на него.

— Посидим тут, — предложил Санька возле конокрадова креста, и мы присели на травянистый холмик.

Вечереет. За полем уже заходит большое красное солнце, и вода в глиняных карьерах тоже красная, будто туда насыпали жару из печи. На болоте, где был когда-то немецкий ложный аэродром, спокойно ходит длинноногий аист ищет на ужин лягушек. А нас с Санькой донимают комары. Но мы хлопцы терпеливые, мы все равно сидим. Может, Максиму понадобится помощь, как раз и подоспеем. А потом вместе будем вести того кашлюна по деревне.

Пусть этот Петька Смык посмотрит. И Катя пусть посмотрит, кто мы такие: задаваки несчастные или отважные хлопцы.

А Колдоба как сквозь землю провалился. Нет и нет. А может, залез там в печь и поможет вылезти? Санька даже на крест взобрался, чтоб лучше все видеть. Оттуда, с креста, он и докладывает мне обо всем происходящем. Колдоба лежит за кучей кирпича и не шевелится. Потом подошел к норе и снова затаился. Видно, слушает. Швырнул и нору камень...

— А что из норы? — не стоит мне на месте, тоже охота налезть на крест.

— Ничего, — разочарованно вздыхает Санька.

Ну и опозорились же мы с приятелем! Только панику подпили на все село: упырь, упырь. Теперь хоть на глаза людям не показывайся. И все из-за Саньки. Сопит там, видите ли, кто-то. В ушах у него сопело со страху.

— А у тебя в ушах не кашляло? — обиделся Санька.

В этот момент в развалинах завода произошло нечто такое, чего мы и не ждали. Не из норы, а совсем с другой стороны, будто из-под земли, сверкнуло пламя и сухо протрещала автоматная очередь. Санька кубарем скатился со своего наблюдательного пункта.

Когда упырь поднялся в рост, мы увидали его и так, лежа на земле. На нем были какие-то лохмотья, голова взлохмачена, лицо все заросло. Он опрометью бросился в заросли лозы. Откуда-то из руин вслед ему несколько раз бабахнул револьвер. Но Колдоба стрелял, видно, не метко: незнакомый исчез в кустах.

Едва все стихло, мы с Санькой на четвереньках подползли к Колдобе. Он лежал, окровавленный, среди камней и скрежетал зубами:

— Вот дурень, вот дурень... Не так нужно было... Голод бы его оттуда выгнал, гада... Не совсем я поверил вам, хлопцы. Думал, все-таки... загибаете...

Максима отвезли в госпиталь, а разговоры про упыря возобновились с новой силой. Толковали о том, что милиция нашла на кирпичном заводе его берлогу. Мы с Санькой теперь в центре внимания.

— Ну, какой он хоть из себя, хлопцы? — спрашивают нас все, начиная от бригадирши и кончая старым Зезюлькой.

— Такой лохматый-лохматый, одно волосье, — рассказываем мы.

Министр считает, что это какой-нибудь полицай возле села отирается. Может, даже из наших кто, из подлюбичских. Правда, в это не шибко верится. Как только стал приближаться фронт, как только загредело на востоке, их словно корова языком слизнула вместе с семьями. Неумыкин двор вместе с остальными сгорел, а в Афонькиной хате живут соседи. Так что возвращаться им некуда.

— Давно уже они в Германии, у немцев, — говорит бригадирша.

— Немцам теперь не до вчерашних холуев, — возражает ей Министр.

Разные идут разговоры. А тем временем кур у людей кто-то покрадет ночью, то картошки в огороде нароет, хотя она еще не больше ореха, то исчезнут с забора выстиранные брюки. Моя бабушка, чуть стемнеет, запирается на все засовы. Забредет среди ночи в хату, что мы с ним сделаем? Соли на хвост насыплем?

Мы хотим легкого хлеба

Трудное для нас с Санькой настало лето, с потом, с мозолями. И радостное. Каждый день с фронта новые вести. Министр не успевает в бригаде, все их пересказывать. И додумались же наши загонять немцев в котлы! Окружат со всех сторон и поддают жару. Бабушка часто у меня спрашивает:

— А правда, что гадов тех снова в этот... в чугуны загнали?

— Да не в чугуны, а в котел, — снова и снова объясняю я.

— Пускай себе и в котел, — охотно соглашается старая. — Что в лоб, что по лбу...

Ушли наши на запад. Дождлся Зезюлька, что и его Могилев взяли. Уехала с луга зенитная батарея. Там теперь шумит-гудит сенокос. Мне дед Николай наладил отцову косу-литовку, а Саньке старый Зезюлька отбил. Петька Смык наточил какую-то ломачину. Не коса у него, а горе, и он еще с нашими ее равняет. Говорит, хоть на нет сточенная, зато легкая.

На луг мы идем вместе с мужчинами. Вернее, они идут с нами: их раз, два — и обчелся, а нас — целый полк. Мужчины идут и курят, а у таких, как мы, табаку нет.

Попросить бы, да смелости не хватает. Петька Смык попросил было, так Министр его на смех поднял:

— Нос не дорос. Ты его утри сперва.

И остальные мужчины загудели шмелями:

— Правильно, Назар.

— Нащелкать бы его по носу!

Правда, кое-как обошлось, Петькин нос остался в целости.

Поблескивают у нас на плечах косы, за плечами висят баночки с песком и дубовые лопаточки-менташки. Менташка — косу точить, а песок — саму менташку подновить, как оботрется. В полном снаряжении идем. И потому нам неохота здороваться с кем попало. Мужчины с бабами, что идут грести сено, поздоровались, а мы на Катю и не глянули. По-моему, и она нас как бы не заметила. Подумаешь, цаца. Грабли взяла и форсит. Пусть косою помашет.

Встали мы с Санькой рядом, подзынькали менташками по косам, поплевали на ладони — эх ты, сила молодецкая! Размахнулся Санька и — в кочку. Так и снес начисто, как бритвой срезал.

Мне кочка попалась посолиднее. Не кочка, а целое городище, как у нас возле Подлюбич. Таковую с одного маху не снесешь. Туда-сюда, а коса не идет назад, хоть ты ей, как когда-то отец говорил, сала дай. Старый Зезюлька стоит и смеется, из-под прокуренных усов блестят вставленные еще до войны металлические зубы.

— Что, не отпускает? За пятку ее тяни, холеру!

Нет на свете больше позора для косца, чем бросать косье и нагибаться, чтобы вытащить из кочки косу за пятку. Смеху на весь луг:

— Сюда, хлопцы! Вот ладная горушка, ну-ка, тукните!

Правда, когда пошел луг поровнее, мы клевать землю перестали. Так новая беда — насаждает старый Зезюлька. Того и гляди, по пяткам заденет. Мы уже взмокли, во рту — горечь, ноги млеть начали, дух занимает, а дед хоть бы что. Шах-мах — и кладется у него трава в ровный, высокий прокос. Поглядишь — коса сама бегаёт. Видно, острая, как змея. Пускай бы нашими вот так попробовал.

Дед попробовал и нашими. И моей, и Санькиной. Просто не те косы. Даже звенят иначе — тонко, со свистом.

— Тут не в косе хитрость, а в руках. Вы пятку прижимайте к земле, — учит он. — Вот так... А вы носом тычете.

К тому времени, когда бригадирша пришла на луг поглядеть, что тут делается, у нас с Санькой в глазах поплыли разноцветные круги. Теперь мне понятно, почему мать на косьбу клала в отцову торбочку и добрый кусок сала и полдесятка яиц. Я бы сейчас волка съел, попадись он мне в этих кустах.

Глянула Нинка на нашу с Санькой работу и поморщилась. Ей, видите ли, не чисто; ей кажется, что вся молодая, мягкая поросль остается у нас под ногами, а под прокосом и вовсе нетронутая трава. Она считает, что мы не косим, а...

— А что ж мы делаем? — не выдержал я.

— Только траву переводите.

Она поставила нас отдельно от мужчин на Лысом Рогу. Название этому месту придумано в самую точку. Трава здесь реденькая и ровно вокруг, как на току. Если б и хотел, не за что зацепиться косе. Тут уж мы себя показали!

Известное дело, не отстали мы от других и позднее, когда косцам привезли на луг в железной бочке затирку. Была она из непросеянной муки, зато густая и чем-то приправленная. Санька так приналег, что думал — пуп развяжется.

Мало-помалу косить мы все же научились. Потом возили рожь, и возы у нас получались не хуже, может быть, Зезюлькиных. Редко бывало, чтоб развалился в дороге. Разве что веревка развяжется и гнёт съедет.

Не успели мы с Санькой оглядеться, как уже и школа на носу. А у нас ни одной книжки, ни одной тетрадки.

Правда, если я захочу, бабушка может мне пожертвовать трубку обоев, что завалылась у нее еще с «до войны». А тетрадей она мне не нашла и книг не напечатала. Недосуг было.

Когда и по сколько будут платить на трудодни, никому неизвестно. Да бабушка нам советует не больно-то на ту оплату разевать рты. Лучше как-нибудь иначе расстараться денег и купить что нужно для школы.

Пустились мы с Санькой в торговлю. День по лугу ползаем, день на базаре щавель продаем. Чуть свет прибегаем в город, раскладываем свой товар, и Санька начинает бойко зазывать покупателей:

Подходи, кладем до неба, Можно есть и без хлеба!  
Люди смеются и весело у нас покупают.

Моя бабушка говорит, что на базаре два дурня: один хочет дорого продать, а второй — дешево купить. Сперва мы с Санькой не ходили в тех дураках, что хотят дорого продать, не торговались за какую-нибудь лишнюю горсть. Мало тебе — на, бери еще. Только деньги выкладывай. Остальные торговцы щавелем начали на нас коситься, особенно женщины. Цену им сбиваем. У нас люди берут, а у них не хотят. Они уж и водой свой щавель сбрызнут, чтоб не такой вялый был, а возле них все равно очереди нет.

Вот тут одна женщина возьми нас и подучи. Мы, мол, продавать не умеем: мешки приносим большие, а выручка — курам на смех. А нужно делать так: класть поменьше, да взбивать, чтоб казалось, что много. Позарились мы с Санькой на большую выручку. Сидели-сидели — нет покупателей. Плюнул Санька на эту хитрость и снова взялся торговать по-своему:



Подходи, кому мало, Можно есть и без сала!

Один седой, старичок с палочкой сказал, что из этого хлопца при старом режиме вышел бы большой человек. Купец первой гильдии.

В первый же день нашей торговли, продав щавель, мы пошли прицениваться к тетрадам. А на базаре чего-чего только нет, прямо глаза разбегаются: решета, гармоники, зажигалки из винтовочных гильз, огурцы, веревки, соль, жженые гвозди, шинели из английского сукна, картофельные оладьи-драники с постным маслом — всего не перечить. Кричит, спорит базар, божится, толкается, плачет, смеется — голова идет кругом.

Сидит у ворот слепой инвалид, лицо в синих крапинках пороха. На нем линиялая гимнастерка. На тротуаре шапка с рублями. Инвалид так растягивает гармошку, что, кажется, вот-вот лопнут цветастые меха.

А ну-ка, дай жизни, Калуга! Ходи веселей Кострома!

Мы с Санькой вздохнули, бросили, как и все, в шапку по рублю, пошли дальше. По другую сторону ворот, под забором, примостился красноносый бородатый дядька. В покрашенном зеленом ящичке перед ним сидит морская свинка, на ящичке — стопка билетов из тетради по арифметике. Тетради, должно быть, не хватило, пошла в ход и обложка с таблицей умножения. На тех билетиках написана судьба: кому встреча, кому расставание, кому богатство — кому что суждено.

— Подходи, хлопцы! — обрадовался дядька, заметив нас. — Пять рублей — и бери свое счастье!

Нет, мы с Санькой и так свое счастье знаем. Пусть другой кто-нибудь, а мы поглядим. Вот девушка подбежала, протянула, дурья башка, свою пятерку. Красноносый постучал пальцем по ящичку, и оттуда через круглое отверстие выскочила свинка: шустренькая, гладенькая, глазки хитрые, как у хозяина. Хозяин сунул ей под нос пятерку, свинка оглядела ее, понюхала, будто проверила, верно ли заплачено, и зубами вытащила один билетик. Тот самый, на котором таблица умножения. Девушка так и расцвела.

На замусоленной, многими руками захватанной бумажке, как курицей нацарапано химическим карандашом: «Жених к тебе приедить».

А какой-то старушке посчастливилось и того больше. Сама она прочесть не могла, Саньку попросила. Тот и прочитал: «Твой милай тибя даждыдаицца».

— Тьфу ты! — разозлилась старуха. — Только людей дурачишь, кабан откормленный. Мила-ай... На том свете, может, и дожидается.

Мы с Санькой купили у толстой торговки по дранику, по пятерке враз проглотили и не наелись. Если и дальше так шикавать будем, тетрадей нам не купить: всего по десятке осталось. Пересчитали свои деньги — пошли дальше.

— Хлопцы, давайте сюда!

Оглянулись — городской верзила-парень в кепке с пуговкой на макушке пальцем нас к себе манит.

— Купите самовар. Даром отдаю — две тысячи. Смотрите, какая полуда.

— А зачем он нам? — растерялся Санька.

Глаза у парня бегают туда-сюда.

— Чай будете греть, турки. Вы на медали посмотрите. Видите, сколько тут выбито медалей? Во — Париж, Вена, Брюссель. Царский самовар.

Ни Париж, ни Вена на нас не произвели впечатления. Тогда парень схватил меня за рукав.

— Давайте угадаю, какого года у вас деньги. Угадаю — мне отдадите, не угадаю — я вам столько же. Ну? Думаете, легко угадать? Выиграете как пить дать.

Едва мы избавились от него.

Тетради продавала одна-единственная женщина, да и у той было их всего с десяток. Полистали мы их, погладили ладонью бумагу — ничего себе, гладенькая. А приценились — так и ахнули. Десять рублей штука. Санька попробовал торговаться. Он будто бы видел, что здесь, недалеко, продают по пять рублей.

— Это где же? — заинтересовалась женщина.

— А вон там, — показал Санька в толпу.

— Ну так идите туда и купите! — посоветовала она.

Должно быть, таких умников она уже видела и до нас.

Подумали-подумали мы с Санькой и решили в самом деле поискать тетрадей подешевле. Не нужна нам такая уж гладкая бумага, сойдет и пошершавее, лишь бы цена так не кусалась.

Шумит базар, спорит, клянется. Все толкаются, и мы толкаемся, лезем туда, где люднее. Смотрим — под забором мужчины что-то такое интересное окружили. Не иначе, на дармовщину люди нарвались. Да нет, под забором на мостовой снова инвалиды. Двое, безногие оба. Костыли рядом лежат. Здесь идет игра на деньги.

Один, рыжеватый, держит в руках три карты. У всех на виду он кладет их одну на другую — нужно вытащить туза. Подошел какой-то дядька, вытащил и получил пятерку. Вытащил снова — и снова получил. Тут и другие захотели. Но теперь, кто ни брался, на туза напасть не мог: то он оказывался снизу, когда все видели, как его клали наверх, то сверху, когда все были убеждены, что он внизу.

— Ну и ловок, шельма! — восхищаются картежником зрители и весело хохочут, когда очередной охотник до пятерок растерянно разводит руками.

Рядом играют в «веревочку». Товарищ картежника, бойкий, похожий на цыгана мужчина, привычными движениями раскладывает на мостовой тонкий шнурок, крутит хитрые петли, словно вяжет кружево. Тот, кто хочет выиграть, должен ткнуть пальцем в эти петли, после чего инвалид дернет шнурок за оба конца. Зацепился шнурок за палец, попал ты в центр петли — бери деньги. Проскользнул шнурок мимо — выкладывай десятку. Здесь на мелочи не размениваются.

— Эй, давай, не зевай! — приглашает веревочник охочих попытать счастья. — Греби деньгу лопатой. Выиграешь — не радуйся, проиграешь — не горюй! Последний в жизни шанс, последний сеанс, и лавочка закрывается!

У нас с Санькой глаз острый, мы все его штучки видим. Сперва положил кружком, потом змеей набросал. Если ткнуть пальцем посередке — точь-в-точь угадаешь. У меня сердце так и ёкнуло. А что если... Тогда и без всякого щавеля, мы купим себе тетради, а если повезет, то и Глыжке гостинец. Баранки я в одном месте приметил — глаз не оторвать.

— Ну, хлопцы, смелее! — подбодрил нас инвалид.

А подношу палец к веревочке, и, кажется, затихает вся базарная площадь, только из-за спины слышится шепот:

— Облапошит он этого хлопца...

Кого облапошит? Меня? Инвалид дернул за веревочку — и петля обвилась вокруг моего пальца. А они говорят — облапошит. Как бы не так, не на тех, брат, нарвался.

— Молодец! — похвалил меня веревочник и достал из кармана новенькую, еще хрустящую десятку. А мы-то, дурни, ползаем по лугу день-деньской да тащим на себе тяжелые мешки за столько верст, когда тут деньги на земле валяются.

— Оставьте вы это, ребята, — предостерегла нас незнакомая женщина.

— Не слушайте ее, — как-то почти по-приятельски сказал нам инвалид. — Много она понимает.

Да мы и без его уговоров ни за что бы не бросили игру. Санька тоже выиграл, зато мне в другой раз не повезло. И ведь так присматривался, так следил за той веревочкой, а она шмыг — и нет десятки. Потом и Санька проворонил. Когда мы ткнули пальцами еще по разу, у нас остались только пустые мешки из-под щавля.

— Больше нет денег? — спросил инвалид.

— Не-ету, — вздохнул, как кузнечный мех, Санька.

— Ну и ступайте своей дорогой. В другой раз умнее будете.

А мы стоим и глазами хлопаем. Аж плакать охота. Вот тебе и тетради, вот тебе и баранки. Дурни мы, дурни, каких еще свет не видел. Верно бабушка говорит, что бить нас с Санькой некому.

Напарник веревочника чем-то напоминает Санькиного отца — дядю Ивана. Широколицый, шея, как дубовый комель, жилистая, жидкие рыжеватые волосы на голове. Виски посеребрены. За нашей игрой он не следил, у самого отбоя от охотников не было. А тут бросил карты в шапку вместе со скомканными пятерками, троячками, рублями и тихо сказал:

— Игнат, отдай ты им деньги... Сам видишь, что за богатеи.

— Пусть не лезут, коль в кармане пусто, — заупрямился чернявый. — А они бы отдали, если б выиграли?

Мы стоим и молчим, повесив головы. Санька красный, как вареный рак, да и у меня огнем горят щеки. Теперь я не хочу и тех баранок.

— Вот видишь? — прищелкнул языком веревочник. — Не отдали бы.

— Все равно верни! — прямо побелел наш заступник, потом сказал дрожащим голосом: — Может, твои где-нибудь вот так ходят, — и схватился за костыль.

— Тьфу ты, припадочный, — выругался веревочник, и наши скомканные десятки полетели нам под ноги. — Марш отсюда, босота!

Нас не пришлось уговаривать. Дай бог ноги подальше от той дармовщины, скорей отдали тетке свои деньги, схватили по тетрадке и — домой. Хорошо еще, что так обошлось.

— Ну и дурни, — сказала бабушка про инвалидов. — Я вам не вернула бы ни копейки, чтоб не гонялись за легким хлебом. Нашлись мне ассессоры — без мозолей десятки грести.

«У лукоморья дуб зеленый...»

Школа. Здравствуй, школа! Давненько не сидели мы в классах, не бегали на переменах по гулким коридорам, давненько эти стены и старые тополя во дворе не слышали веселого звонка. Как разошлись мы в мае сорок первого года на каникулы, так не три месяца длились они, а три года.

В школе спали чужие солдаты, тут устраивали пьянки полицаи, даже немецкие кони стояли, а потом лежали в классах сугробы и разгуливал по коридорам ветер.

А нынче утром в старой нашей школе, где когда-то была волость, снова прозвенел звонок.

Пока — только в старой. На каменную, что построили перед самой войной, у сельсовета не хватает, как говорит дядька Скок, девяти гривен до рубля. Там по-прежнему пусто. Под стенами вырос чертополох, вечером прямо под стропилами шастают летучие мыши, да мальчишки, играя в прятки, ранят на битом стекле ноги.

А волость кое-как, на живую нитку отремонтировали, и сегодня мы сели за парты. Хотя какие там парты — длинные и узкие, в одну доску столы. За такой «партой» помещается восемь человек, а если потесниться, то и; все десять. Доски выструганы наспех, и Санька успел загнать занозу в палец.

Но нам сидеть не тесно. Первоклассников, тех собралась тьма-тьмущая, три года — не шуточки, а у нас много ребят не пришло. Из наших с Санькой друзей двоих нет. Митька-Монгол на кладбище, его немцы застрелили. А Петька Чижик помогает матери кормить семью. Сегодня по дороге в школу мы его встретили. Петька ехал верхом на Буянчике, с шиком держа в зубах сигарку.

— Так ты не пойдешь? — Санька кивнул в сторону школы.

— Не-е, — вздохнул Чижик. — Не пойду. Надо же кому-то и лошадей пасти, не всем учеными быть.

От солнца, от костров в ночном на лугу, от дождей и ветра лицо у Чижика почернело, погрубело — с виду не скажешь, что Хлопцу всего четырнадцать. Мужчина, да и только. Только ростом не вышел. И голос у Петьки сиплый, простуженный.

Мы вырядились в школу кто как мог. Санька в новой рубахе из парашютного шелка. Тетка Марфешка ее на пуд ржи выменяла. Смык в штанах из брезентовой солдатской плащ-палатки. Они морщатся гармошкой, и никакой силой их не разладишь. Оттянет Петька руками штанину вниз — ровно, только за другую возьмется, а первая — хлоп! — и снова гармошкой. Не штанины, а пружины. Книг мы себе с Санькой так и не купили. А тетрадки есть: две покупные да еще самодельные, из обоев. Толстые, как библия. Страница чистая, страница в голубые цветочки — пиши и любуйся.

Такую же «библию» я сшил и Глыжке. Он сегодня тоже пришел учиться. Вскочил с петухами — боялся проспать, добровольно вымыл шею. Бабушка ему в уши заглянула, а потом обоих и за порог проводила:

— Ну, ступайте, грамотеи... Да не ходите там на головах.

Санька малость побогаче нас с Глыжкой. Ему хорошо: немцы, когда у них стоял офицер, оклеили их хату белой бумагой. Начальству не нравились облупленные стены. А теперь, перед школой, это Саньке как находка. Пока мать была в поле, он навел порядок в хате: ободрал стены, ни клочка не оставил. Ну и влетело ему от матери. Мы с хлопцами с улицы слышали, как Марфешка разорялась:

— Ах ты, лядаще! Ах ты, гайдамака!

Санька все это перенес мужественно и теперь в ус не дует: есть у него и тетрадки, и блокнотики.

Так мы подготовились к школе.

И вот отворилась в классе дверь, вмиг стихли гомон и смех — на пороге стоит наша Антонина Александровна. Она будто и не изменилась за годы войны, такая же маленькая и сухонькая, лишь синее платье, которое учительница надевала в праздники, совсем выцвело. Все те же блестящие стеклышки сами собой, без дужек держатся на носу. Теперь мы знаем, что они называются пенсне. Учительница обвела внимательным взглядом класс, и в очках отразились окна, «парты» и мы с Санькой на скамейке.

— Здравствуйте, дети!

Отвечая ей, мы с Санькой одними глазами улыгнулись друг дружке. Дети! Назвала бы уж как-либо иначе. Вон Сонька Зыкова уже волосы завила. Правда, не так чтобы очень, по заметно. Верно, тайком от матери накручивала на горячий гвоздь. А у Петьки Смыка пушок под носом пробился. Оттопырив губу, Смык скубет его двумя пальцами, будто усы подкручивает: аж красно под носом. Правда, у нас с Санькой усов еще нет, потому что мы не сидели, как Смык, по два года в одном классе. Но и мы хлопцы дай бог. Если б не война, были бы уже не в четвертом, а в седьмом.

В первый день мы почти не занимались, просто говорили о жизни. Антонина Александровна все удивлялась, как мы выросли, рассказывала про свою эвакуацию на Урал, а мы ей про немцев, про мадьяр и итальянцев. Про свои геройские дела тоже. Оказывается, не только мы с Санькой насолили фашистам — у каждого из хлопцев нашлось о чем рассказать. Один итальянского коня в болото загнал, второй офицерский бинокль с печи вроде невзначай сбросил, чтоб тот разбился, третий на кухне в суп песку насыпал. Вот где хрустело у фашистов на зубах! Были дела и посерьезнее: таскали у немцев гранаты, прятали раненых. Как мы, скажем, с дедом Мироном.

Вспомнили, как книжки из школьной библиотеки разбирали по домам, когда полицай Неумыка вывалил их из шкафов на пол. Думалось, что это только мы с Санькой такие смелые, а их уносили и прятали и Коля Бурец — Храбрый Заяц, и тот же Смык. Смык даже похвастал, будто бы из-за тех книжек немцы гонялись за нами по всем Подлюбичам и стреляли вслед. Мы с Санькой рты разинули от удивления, вспоминали-вспоминали, когда такое было, и не вспомнили. Самому мне из-за книг довелось больше повоевать с бабушкой. Раза два хотела ими дрова разжигать в печи, когда щепок сухих не было. А немцы их и в глаза не видели.

Антонина Александровна говорит, что все мы герои. Это благодаря нам в школе будет библиотека.

Нет, библиотеки не будет. У хлопцев сгорели хаты, а вместе с ними и книги. У нас с Санькой хаты уцелели, но нашими книгами всю войну питались мыши, которые уцелели вместе с хатами. Если и сохранилось, так всего два-три десятка.

— Все равно герои, — похвалила нас учительница.

И вот уже неделю, вторую и третью идут занятия, вот уже Антонина Александровна рассказывает нам о Пушкине. Не о том, понятное дело, который живет возле Козодоя. Того мы сами знаем. Это Степка Пилипчик, высокий, худой, черный и кучерявый. За это его и зовут Пушкиным, хотя стихов он писать вовсе не умеет.

У лукоморья дуб зеленый; Златая цепь на дубе том, — читает учительница, а Саньку толкает под бок Петька Смык и кланчит тягучим, нудным шепотом:

— Сань, а Сань... Дай трубочку. Ну, зачем она тебе?

Дело в том, что у Саньки есть медная блестящая трубочка толщиной в карандаш. С одного конца она запаяна наглухо, а с другого, там, где потолще, — резьба. Трубочку потерял какой-то разява, а Санька нашел. Он хочет отпилить у нее концы и сделать себе такую ручку, чтобы перо пряталось внутрь.

И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом... А Петька из Санькиной трубки хочет сделать свисток. Этих свистков у него уйма. Делает он их из полосок жести, из стреляных гильз, с горошиной внутри и без горошины, а потом сбывает мальчишкам из младших классов за ломоть хлеба, за кусок лепешки или за пару больших антоновок. Мальчишки сами бегают впроголодь, зато свистят в свистки сколько душе угодно.

Идет направо — песнь заводит, Налево — сказку говорит... А еще Смык научился из пятак делать кольца. Так выкует и так отшлифует — чистое золото. Этими кольцами он уже оделил всех девчат, что постарше, и всех молодух с Хутора.

...Там чудеса: там леший бродит, Русалка на ветвях сидит... Санька не устоял: отдал Смыку трубочку за готовую ручку. Ручка была не ахти какая, ржавая и погнутая, зато придача что надо: перо «86» и «жабка». Особенно «жабка» хороша: мягко так пишет и почти не царапает.

...Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей...



А Смык и не слушает. Он не может дождаться перемены, достал из кармана ножик и под партой ковыряется в Санькиной трубке. Делает он это ловко. Глаза внимательно и преданно глядят на учительницу. Кажется, он весь там, подле того дуба, вокруг которого ходит кот ученый. С виду ни за что не скажешь, что в голове у него одни свистки. А руки там, под столом, орудуют. Стол так и ходит ходуном. Пузырек от йода, в котором Васька Мамуля держит чернила, чуть не полетел на пол. Его подхватили уже на лету.

Едва Антонина Александровна опустит очки в книгу, Смык зырк под стол, на свою работу, и опять сидит, как святой угодник. Должно быть, медная трубка поддается легко, потому что вид у Петьки довольный.

...Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, без...

Взрыв грянул так неожиданно, что у учительницы выпала из рук книга и слетели с носа очки. Девчата хором ойкнули, а мы с Санькой так резко вскочили, что чуть не опрокинули «парту». На этот раз Васькин пузырек полетел-таки на пол, чернила растеклись лужицей, брызги попали на стену.

Петька Смык побелел, как покойник. С перепугу он не может вымолвить слова, лишь трясет губой и тянет:

— А-ва-ва-ва...

Из-под него валит сизый едкий дым, кажется, что Петька горит, а на полу вроссыпь — свежие сосновые щепочки: взрывом пощепало стол. На щепочки с Петькиных рук капает кровь.

В школе поднялся переполох. Загалдели в соседних классах, захлопали двери. К нам вбежал директор. Он не расспрашивал, что тут произошло, — увидав Петькины руки, схватил его за плечо и потащил с собой.

Антонине Александровне сделалось дурно. Ее под руки увели из класса девчата. Занятий в тот день больше не было. Девчата долго сидели перепуганные, а хлопцы, немного придя в себя, затеяли спор, что это взорвалось: одни говорят — специальная мина, другие — запал.

Когда мы уже шли домой, нас нагнал Смык. Он возвращался из медпункта и нес перед собой забинтованные руки. Петька еще храбрился:

— На правой руке здорово пальцы побило, но кости целы. Ничего страшного!

А больше всего он бедовал, что свистка не получилось. Вот был бы свисток — целая дудка. Какой-нибудь первоклассник неделю за него хлеб таскал бы.

Но нет худа без добра: теперь мы будем на уроках писать, мучиться, а Петька пан-паном сидеть. И к доске не вызовут, и дома уроков делать не надо. Как он ручку возьмет?

Дома, едва я переступил порог, как бабушка, уже прослышавшая от Глыжки о взрыве в школе, взмолилась:

— Хоть ты уже не делай свистков, нечистая ты сила!

Я был обижен:

— Что я — маленький?

— Маленький — не маленький, а ума хватит. Все вы одним миром мазаны. — И снова за свое: — Ох, хоть бы уже скорей сам приходил!

«Сам» — это, понятное дело, отец. От него уже давно ничего не слышно. Бабушка боится, как бы нам казенного письма не принесли.

Но на исходе зимы нам принесли обычное письмо. Пишет отец, что сейчас он в какой-то Восточной Пруссии. Пишет, что мужиков там нет, одни бауэры. Дома кирпичные, крыты черепицей. Не дома, а крепости. Под каждым укрепление с пулеметом. Город там есть Кенигсберг, а по-нашему — Королевская гора. Думали, что не выковырять оттуда фашистов, так засели. Много наших там полегло, но и они не усидели.

После боев отец ходил по королевским дворцам. И хотя все разрушено, но, видно, богато жили, черти. А им все мало было — нашего захотели.

У Петьки Смыка раны зажили. Только один палец теперь не гнется. Захочет Петька кому-нибудь погрозить, сожмет кулак, а все думают, что он пальцем куда-то показывает.

Бабушка гневается на Америку

По правде говоря, бабушка гневается не только на Америку. Ее единственный зуб горит и на Германию, и на упыря, и на председателя сельсовета дядьку Скока, и на председателя колхоза товарища Дьяка, и, само собой разумеется, на нас с Глыжкой. Вот с себя и Глыжки я и начну.

Бабушка зла на меня потому, что я ей голову заморочил своей золой, загадил ей двор, так мало того — еще и сени. Я на золе совсем рехнулся.

Началось это еще зимой, когда к нам в школу пришел председатель колхоза товарищ Дьяк. Дьяк не наш, не подлюбичский, он прислан из района. Зовут его Леоном Игнатьевичем, а фамилия — Мороз. Но у нас под собственным именем может жить только человек ни на что не способный, неприметный, про каких говорят — ни богу свечка, ни черту кочерга, хоть тресни, а прозвища не придумаешь. Мороза же люди один раз услышали и готово — Дьяк. Голос у него, как медный колокол, — стекла в окнах дрожат.

Ходит Дьяк в белом, уже немного замусоленном солдатском полушубке, туго подпоясанном командирским ремнем. Лицо всегда красное, как бурлак, а на широком носу густая паутина синих жилок. После ранения или контузии, а может, и просто от роду, голова у Дьяка всегда слегка задрана вверх, будто он считает облака на небе, и мы диву даемся, как это он умудряется, не глядя под ноги, обходить ямы и не спотыкаться о камни. А председатель обходит и не спотыкается.

Дьяк умеет гладко говорить. При этом он энергично и решительно размахивает руками, то рубит ладонью воздух, то указывает куда-то пальцем, то грозит кулаком. И о чем бы он ни заговорил, получается, что это и есть самое важное на свете.

Так у него получилось и в школе с золой. В речи было все: и лютый враг, которого нужно разбить, и героизм наших отцов, и весь советский народ, и все прогрессивное человечество.

Спустя полчаса Дьяк постепенно перешел к тому, что врага нужно бить не только оружием, его нужно бить так же высоким урожаем. А для этого мы должны собирать что? Золу, ядреный корень!

Мы с Санькой думали, что зола — это так себе, чепуха на постном масле. Всю жизнь бабушка высыпает ее в канаву. Дьяк же растолковал нам, чего она стоит. После его речи мы так загорелись, что готовы были испепелить все, лишь бы наш класс занял первое место по сбору золы.

Каждое утро, не успеет еще бабушка выгрести из печи, я уже стою у нее над душой, слежу, чтобы чисто выгрела и чтобы, боже упаси, не вынесла золу в канаву.

— Дурни вы со своим Дьяком, — злится старая. — Это ж если б из дров, а из торфа куда она годится? Разве что начальству в глаза пыль пускать.

А я и слышать ее не хочу, прямо из рук вырываю и скорей в сени. Тут наш классный зольный склад. Золой наполнены кадки, ящики, засыпаны все углы.

Мало бабушке, что я умом тронулся, так сюда тащат свою золу и из других дворов: Санька, Смык, Мамуля, даже Катя Глекова. Правда, когда меня нет дома, бабушка их и на порог не пускает.

Мало бабушке, что от меня ей житья нет, так еще и Глыжке зола понадобилась. Так и норовит из-под рук выхватить. Он свою золу носит во двор к Скоку. Там склад первого класса. А я гляжу: что это у нас в сенях золы поубавилось? Оказывается, он тайком от меня берет и первоклассникам таскает. Хорошо, что заметил.

Раз в неделю по улице проезжает колхозная подвода, и тогда наши сени на какой-нибудь день опорожняются, бабушка с облегчением вздыхает, но только до следующего утра. А утром все начинается сначала. Своей настойчивостью и трудолюбием мы добились того, что бабушка величает нас зольной командой, а товарищ Дьяк — ударниками тыла. Он сказал, что мы вместе со всем народом куем победу. Это, конечно, пришлось нам по душе.

А бабушке все не по душе. Теперь ей писари житья не дают. У нас в хате писарей, слава богу, хватает. Будь столько работников, сколько этих зольщиков да писарей, она бы сидела сложа руки да в потолок поплеывала. Особенно младший ей в печенки въелся. Такой уж грамотей, не иначе министром будет. Не тем Министром, что на конюшне навоз из-под лошадей выгребают, а настоящим. Бумаги у нас нет, так он пишет на всем, что под руку попадет: на столе, на клеенке, на старой газете, на стене, на побеленной к празднику печи. Только и не хватает, чтоб еще на лбу писал.

Вечерами при тусклом свете каганца, если посчастливится выпросить у кого-нибудь книжку, мы готовим уроки. А интересно, допытывается бабушка, что в наших книжках написано? Там, случаем, не сказано, где взять керосину, которого кот заплакал? За какие деньги его купить?

Нет, об этом в Санькином задачнике ничего не говорится. Там сами спрашивают у больного про здоровье. Сколько, например, можно сшить штанов из ста метров материи, если известно, что...

Бабушка считает, что задачу эту вставили в книжку люди, у которых либо не все дома, либо денег куры не клюют. Из ста метров материи! Да тут и такой оболтус, как я, понашьет штанов. Вот пусть-ка они возьмут ее черную юбку и решат, как сшить из нее штаны двоим грамотеям. Если сшить мне, так Глыжке и на заплату не останется, если сшить Глыжке, то мне еще на трусы выйдет. Это и так видно, хотя бабушка и не кончала школы.

А не вычитали мы в своих «библиях», куда запропастился ее «хренч»? Впрочем, она и без нас знает, что без упыря тут не обошлось. После того как Максим Колдоба погонял упыря, тот немного было притих, словно убрался куда-то; потеплело — снова объявился, только теперь не на старом кирпичном заводе, а где-то в Волчьем рву. Место глухое, кусты непролазные. Вот и устроил, видно, там себе логово.

Люди работают как проклятые, недоедают, недосыпают, бьются, как рыба об лед, чтобы пережить голодную весну и поле засеять, а упырь бродит и бродит вокруг села. У Сидора Глушки ночью петуха украл, хлопцев и девчат, которые с далеких поселков бегают в нашу школу, напугал однажды до смерти. И вот до бабушкиного «хренча» добрался.

Правда, там уже и не «хренч» был, а одно название. Хороших «хренчей» у немцев испокон веку не водилось. Кто-то мне сказал, что они сукно из картофельной ботвы с помощью какой-то химии делают. Не помню только, кто сказал: то ли Министр, то ли Скок, то ли старший из скоченят — Лешка. Да оно и так видно: не сукно, а гнилье. Расползается по живому! И грязь за него берется, как репы за собаку. Вот и постирала его бабушка к весне, и как с вечера повесила сушиться, так и по сей день сохнет. А кто еще на такие штучки пойдет, если не упырь?

Что и говорить, нет в нашем селе настоящих мужчин. Все какие-то тихие, мирные. Мухи боятся. Вот была бы наша бабушка мужчиной, она бы им всем показала, как этих упырей ловить! Она бы его отучила снимать с забора «хренчи», она бы ему как пить дать шею набок своротила, голову бы оторвала и собакам выбросила. Счастье его, что бабушка не мужчина.

Но вскорости бабушка малость утешилась. По селу прошел слух: нашим Подлюбичам Америка пришлет помощь. Теперь бабушка почти уверена, что взамен украденного ей дадут новый «хренч», американский. А если не «хренч», так что-нибудь другое, ибо о нашей пропаже знает все начальство, и быть того не может, чтобы при дележке оно не учло этого обстоятельства. Не зря же Максим Колдоба, который недавно вернулся из госпиталя, так подробно обо всем расспрашивал, записывал, а потом сказал:

— Ну, не горюй шибко, Матрена Евсеевна. Обживемся — дай срок.

Сразу видно, на что-то намекал.

С тех пор каждый день, когда я прихожу из школы, бабушка задает мне один и тот же вопрос:

— Не слышать, Америка там еще ничего не прислала?

Да она и сама не спит в шапку: нет-нет, да и сбегает на село, походит вокруг сельсовета, послушает разговоры. Встретит на улице Поскочиху — тоже не преминет сказать, что бульбочки на семена не осталось, что хлопцы вконец обносились, что внутри что-то колет, а потом и вставит, словно невзначай:

— Ну, как там, ничего не слышно из Америки?

Бабушка даже начала географией интересоваться. Как-то нам с Санькой попала карта восточного и западного полушарий Земли. В школе мы этого еще не проходили, просто разглядывали и читали, где какой океан, где какое море, где земля, где вода. Тут и бабушка подошла к столу:

— Какая хоть она, та Америка?

Мы показали.

— А чего это она такая? — удивилась.

— Какая — такая?

— Да в поясе перетянутая. Сперва широкая, потом узкая, а потом опять вширь пошла.

Это и нам неизвестно, почему она перетянутая. Так уж получилось.

Америка не сходит у бабушки с языка. Спросишь у нее:

— Баб, куда ты?

— Прямо до Америки на зеленом венике.

Вот и весь сказ. Понимай как знаешь.

Как бабушка ни караулила, а на дележку американской помощи не попала. Чтоб меньше было шума и споров, в сельсовете все заранее разделили. Но и про нас не забыли. Скок наказал, чтобы бабушка пришла.

— Хороший человек, — похвалила его бабушка и — трушком по улице. Потом вернулась, бросила кошелку, а взяла мешок. Чего доброго, в кошелку не влезет, а из большого не вывалится. Мы с Глыжкой бросили учить уроки и нетерпеливо дожидались ее возвращения. Интересно, что она принесет.

Может, каждому штаны и по рубашке в придачу? А может, что-нибудь такое вкусное и большое, что будем есть-есть и не съедим.

Вернулась бабушка под вечер, мрачная и невеселая. Я сразу понял, что наши надежды на помощь лопнули, а Глыжка полез с расспросами — и попал под горячую руку.

— Сядь! — цыкнула она на брата, — Видал ты его, разинул рот на дармовщину.

Помощь была такая, что Скок не знал, как ее и разделить. Пальто линялое отдали Нюрке Казеко. Той, что во-он за самым Ситнягом живет. Она мне ровесница, осталась без отца, без матери, а на руках еще трое младших братьев и сестер. Кому же отдать, как не ей?

На весь Хутор одни сапоги достались. Кажется, Поликарпиха их схватила, потому что сидят ее дети на печи, в школу не ходят: совсем обуть нечего.

А мы, оказывается, еще богачи, нам, видите ли, и так еще можно жить, без сапог.

— И как у него язык повернулся? — чехвостит бабушка Скока. — Ах ты, чепела хромоногая!

Правда, и бабушке кое-что предлагали, набивались даже. Давали подтяжки для брюк. Так она сгоряча на них плюнула, а потом, когда одумалась, подтяжки уже кто-то забрал. Принесла она только пачку яичного порошка. В тот же вечер развела его водой, испекла блин, и мы его мигом съели.

— Вот вам и вся Америка, — подвела итог бабушка. — И больше вы мне о ней не говорите. Слышать не хочу. Сами щавелю не нарвем, бульбы не вырастим — никакая нам Америка не поможет. Подтяжки прислали, а к чему их цеплять?

Ей почему-то и блин тот из порошка не понравился. Но по-моему, здесь она кривила душой. Блин был вкусный, только что мал.

Вот и гневается с тех пор моя бабушка на Америку.

А Скока она в скором времени простила, потому что ему, бедняге, от Поскочиخي влетело по первое число: взял себе только пачку сигарет, а сам заплатками на штанах светит.

Нам пишут из Европы

По улице мимо нашей хаты часто проходит с ореховым посошком в руке деревенский почтальон Давид. Сколько я помню, он работает на почте. До войны Давид был вроде как бы начальником, сидел в отдельной комнатухе в сельсовете за невысокой перегородкой и хлопал по конвертам печатью. С сумками по селу бегали две молодницы.

При немцах Давид не работал. Говорят, староста хотел посадить его за ту перегородку, но старик так расхворался, что из дому редко выходил. Когда пришли наши, он сразу выздоровел и теперь сам — молодicc ему пока что не дали — носит тяжелую кожаную сумку. Иной раз мы с Санькой ему помогаем, если нам по дороге.

Сумка у Давида всегда полна. Еще зимой в наши Подлюбичи густо пошли письма из Германии и других стран, которые старый почтальон называет одним словом — Европа. Сядет он перебирать в сумке письма да открытки и нам показывает:

— Вот, глядите, хлопцы, — Будапешт!

Вертим мы в руках открытку и диву даемся: какие большие города есть на свете, больше, чем Гомель!

А то покажет Варшаву, Бухарест или Софию. Тоже красивые города.

В сумке у Давида попадаются открытки с пешими и конными рыцарями, с разными церквями и костелами, снеговыми горными вершинами и морскими берегами. Бывают и такие: рамочка в виде сердца, а в сердце франт в черном пальто, волосы причесаны, аж блестят. Причешись я так, бабушка сказала бы, что меня корова языком прилизала. Рядом с франтом розовые паненки страшной красоты. На одних карточках франты и паненки держат хрустальные бокалы, видно, с вином и друг другу улыбаются, на других — целуются. А под ними по-немецки золотыми буквами написано: «Ich liebe dich».

— Во, хлопцы, посмотрите только, что Макар Ховре прислал — либадих! — смеется Давид. И нам тоже смешно: мы же знаем того Макара — мужик мужиком, и Ховра босая на работу ходит. А он — «либадих»!

Письма тоже бывают разные: в конвертах и без конвертов, сложенные треугольником да еще и солдатскими нитками прошитые, на бумаге из школьных тетрадей и на каких-то немецких казенных бланках; бывают с фотографиями и без фотографий.



Густо идут в Подлюбичи письма из Европы, и наш почтальон иногда не управляется их разносить по хатам и землянкам. Тогда к концу занятий он приходит на школьное крыльцо и ждет последнего звонка.

— Петька! — кричит старик, когда мы окружаем его со всех сторон. — Отнеси письмо Алёне Самохвалихе! Санька! Передай Ковалям. Да не потеряй гляди...

Давид плохо видит и поэтому подносит конверты к самому носу: кажется, он не читает, что там написано, а нюхает. Достал из сумки, понюхал:

— Коля, твоей сестре либадих!

Так и раздаст на самые дальние улицы. А мы и рады: бежим из школы и почту разносим. Каждый тебе спасибо скажет, а от Давида нам честь и слава. Помимо славы перепадает немало разного добра: то чистый лист бумаги, то огрызок карандаша, а то и прошлогодний журнал с рисунками.

Интересно разносить по хатам письма. Люди читают, и ты наслушаешься. Разве что девушке какой-нибудь придет письмо от жениха — тогда извините. Выхватит из рук, в уголок забьется и шепчет про себя. Но чаще всего тут же на завалинке или во дворе читают. Если у хозяйки грамоты в обрез или очки за войну потерялись, — нас с Санькой попросят.

Разные письма бывают. Читая одни, люди радуются, другие — печалются. Открытки чаще всего ставят в рамку, где под стеклом фотографии близких, под вышитые рушники, если у кого сохранились. Входишь в землянку — в рамке какой-либо Будапешт или паненка с франтом. А если письма от командования...

От командования письма в строгих, фабричного изготовления конвертах, подписанные разборчивой писарской рукой. Таких писем все боятся, и никто из взрослых не берется занести их по дороге, как бы Давид ни просил. А нам он их не доверяет: это уже не письмо, а документ. Такие письма, денежные переводы и другие важные бумаги старик разносит по дворам сам. И люди уже заметили: если он в хату идет, — значит, с добром, если в окно постучится, конверт в руки, а сам за калитку, — беда.

Такое письмо он недели три назад принес тетке Марфешке. Оно было коротенькое, наполовину печатное, наполовину — от руки. Умер в госпитале. Санькин отец Иван Маковей умер в госпитале.

Когда это письмо прочли, я думал — тетка Марфешка сейчас запричитает. А она не причитала и не плакала. Она села на скамью, обхватила голову руками

и словно окаменела. Глаза открыты, а видеть ничего не видят. Прибежали соседки, прибежала моя бабушка, стали все уговаривать, чтоб поплакала, а то сердце может не выдержать. А она молчит и молчит. Белая как мел.

Наконец она встала, хотела, видно, куда-то пойти, да невзначай зацепила и опрокинула табуретку. Хотела горшок на стол поставить, а тот выпал из рук, разлетелся в черепки, и по полу потек перловый суп. Говорят, на нее затмение какое-то нашло. И не диво — дядя Иван был золотой человек. Все бабы его нахваливали, говорили, что свою хохлушку он на руках носил. Ни слова она крутого от него не слышала, ни синяка не видела.

Бабы Марфешку уговаривают, а я — Саньку. Пусть он не очень-то верит письмам. Разве солдат не рассказывал: думали про одного, что погиб, а он только ранен был. Люди вылечили, и он домой вернулся. Там похоронку читают, а дверь скрип — хозяин на пороге.

А то один в плен попал, долго в лагере маялся, пока не убежал? Потом собрал партизанский отряд и так немцев бил, что не знали, куда драпать. Ему за это Героя дали. А все думали, что убит. Так может быть и с Санькиным отцом.

Я рассказываю Саньке, что где слышал, кое-что придумываю от себя, а Санька вовсе меня и не слушает: лежит ничком на траве, плечи вздрагивают.

Три дня Санька не ходил в школу, пришел лишь на четвертый и то какой-то не такой, как всегда. На уроках сидит тихо, не обернется, хотя совсем и не слушает Антонину Александровну. Все думает, думает... Думает теперь Санька не о винтовочных гильзах, не о том, как без билета пробраться в кино, и не о том, как после уроков по дороге домой поугатать наших девчонок. Санька думает о жизни.

Он еще толком не знает, что ему делать: учиться ли дальше, или бросить школу и идти в колхоз, как Чижик, или податься в фабзайцы — куда угодно, только бы матери было полегче.

И на переменках Санька не бегает по коридору, не носится как шальной вокруг школы, не стреляет шариками из бумаги в кучерявую Соньку — ничего такого, что охотно проделывал раньше. И к Саньке никто не вяжется, все обходят его, словно больного. Только Петька Смык, забыв, должно быть, о том письме от командования, как-то раз нахально толкнул моего друга под бок:

— А ну, подвинься, Рыжий!

Так я Петьке напомнил правила вежливого поведения. Я так врезал ему по красной, нащипанной губе, что она еще больше покраснела. Я не говорю, что совершил очень уж красивый поступок, что за это меня нужно фотографировать и вешать на Доску почета, но и Смык тоже хорош. Если он вымахал с телеграфный столб, если у него пробиваются усы, а на пальце красуется самодельное кольцо из трех копеек, то это еще вовсе не значит, что ему позволено толкать моих друзей и сирот.

Петька, конечно, разозлился и вцепился мне в чуб, а я, не долго думая, схватил его за лопух, иначе говоря — за ухо. Когда же он оцарапал мне нос, я дал ему подножку, и мы оба покатались по полу, как разъяренные коты. Точнее, это Смык был, как кот, а я был тигр тигром. Я хотел так ему дать, чтоб век помнил и всему смыковскому роду заказал. Так бы оно и было, если б не зазвенел звонок и нас не разняли хлопцы.

Но и после уроков мир не восстановился. По дороге домой мы все время издали показывали друг другу кулаки; я свой обыкновенный, а Смык свой — с оттопыренным пальцем. Он сулился поймать меня на своей улице и не оставить от меня мокрого места. Ладно, ладно, Смычище, а на нашей улице ты и костей не соберешь.

Дома бабушка сразу заметила и царапину у меня на носу, и что не хватает пуговицы на рубашке. Сколько я ни доказывал свою правоту, она не сказала мне доброго слова.

— Петька дурень, а ты и того хуже.

Тут, видно, ничего уже не поделаешь. Не хочет старая признавать моего благородства, хоть ты в лепешку расшибись.

А вскоре заглянул Давид и к нам во двор. В дом не вошел, в окошко постучал.

— Вот и мы дождались, — упавшим голосом произнесла бабушка. Да и я перепугался: схватил письмо, а прочесть не могу.

— Не вам, не бойся, — буркнул почтальон и направился к калитке.

Письмо было бабке Гапе, старой Миронихе, которая так и прижилась у нас, потому что землянку ей слепить некому.

Чуяло сердце старой Миронихи, что так оно и будет, что не увидит она больше своего Василя — своего соколика, что сложит он свою головушку на чужбине и никто не придет на его могилу, никто не принесет ему красного

яичка на радуницу и что самое ее, сироту старую, некому будет проводить в последний путь.

Мы с бабушкой очень жалеем всегда тихую, добрую и ласковую бабу Гапу. Она нам, как своя. И когда Мирониха захотела отслужить службу, «по убиенному Василию», бабушка не возражала, хотя на поминки обязательно явится ненавистная ей Чмышиха.

...Изо дня в день проходит мимо нашей хаты Давид, разносит письма из Европы: кому — открытки с Бухарестом и Будапештом, кому — от командования.

Вторая пасха

Однажды утром бабушка сказала нам с Глыжкой:

— Все люди как люди, одни мы беззаботные. Глядишь — тот куренка заимел, тот гусенка, тот телушку, тот хворобушку. Может, и нам пора хоть шелудивенького поросеночка купить?

— А за что? — разинул я рот.

— А за твои заработки, — поддела меня бабушка.

Я знал, что у старой водится какая-никакая копейка. Прошлым летом то бурачки, то морковку на базар помаленьку носила. Да и за мой щавель не все деньги мне на тетрадки отдала. Она собиралась купить юбку к своему смертному часу вместо той, что забрал при немцах Неумыка. Неужто передумала?

— А, — махнула бабушка рукой на образа. — Если он добрый, то и так примет. А может, и еще соберу...

Раза три по воскресеньям ходила она на базар и возвращалась с пустыми руками, а на четвертый, продав еще с ведро семенной ржи, принесла в мешке сосунка. Глыжка был на седьмом небе от радости: такой смешной сосунок, маленький, шустренький, рябенький. Налила ему бабушка немного затирки в черепок — всю вылакал.

— Теперь ваш батька может приходить домой на все готовое, — довольная собой, сказала бабушка.

Так мы и живем: Глыжка поросенка пасет до школы, а мы с бабушкой вскапываем огород. У меня на руках мозоли.

Бабушка все время ворчит:

— Вот-вот! Лодырь за дело, а мозоль за тело. Ты вот глянь только — ни одного мозольчика!

Воткнув лопату в землю, она показывает мне свои руки. Руки у бабушки тонкие — кости, обтянутые кожей, да еще синие вздутые жилы. А ладони большие, как у мужчины. Кожа на них жесткая, отполированная о деревянную рукоятку, а возле самых пальцев она и вовсе ороговела. Где тут вскочить пузырьку?

— Почему они такие? — спрашивает бабушка.

— От старости, — схитрил я.

Улыбка у бабушки в глазах тотчас погасла, она обиженно покачала головой.

— От дурости, а не от старости. У дурней всегда руки такие... Да только если б дурней не было, умники бы с голодухи пухли.

Под «умниками» она, конечно, подразумевает нас с Глыжкой.

А над нами кружат аисты. Высоко — под облаками. Если снизу глядеть — тонкая, длинная палочка вроде карандаша и два крыла. Подняться бы вот так самому и посмотреть с высоты, какая она, земля. Говорят, если высоко поднимешься, — люди, как мурашки.

Где-то возле школы играет духовой оркестр. На селе тихо, и торжественные марши слышать у нас на огороде. Это на трансформаторной будке установили громкоговоритель. Когда марши умолкают, слышен строгий мужской голос, но слов издали не разобрать. Поговорит немного — снова музыка. Что-то она сегодня разыгралась. Может, какой праздник?

— Ага ж, праздник — святые трутни, — все еще сердито говорит бабушка.

Лучше помолчать.

По другой стороне улицы идет старый Давид, быстро идет, так и подскакивает. Что-то прокричал нам издали, помахал рукой. А что он кричал, поди догадайся.

— Слава богу, что мимо, — сказала бабушка. — Сон мне сегодня дурной снился. Будто бобы молотила. Крупные-крупные. Гапа говорит, бобы — это слезы.

— Больше верь своим снам, — откликнулся я.

— А чьим же мне верить? Твоим? Так у тебя же и сны дурацкие.

Ни с какого боку к ней теперь не подъедешь. И все из-за тех мозолей. Копает и копает, даже не разогнется. А мне очень уж охота поговорить, особенно на политику тянет.

— Скоро Гитлера с Геббельсом изловим, — начинаю я, старательно разбивая влажные комья земли: бабушка любит, чтоб было мягко.

— Уж не вы ли с Санькой? — буркнула она и поплевала на руки.

— Зачем — мы? — почувствовал я себя слегка задетым. — Найдется, кому ловить.

— И откуда только ты все знаешь?

— Министр сказал.

— А-а-а, — разочарованно протянула бабушка, но все-таки заинтересовалась: — Ну и что им тогда будет?

Что им будет, я и сам толком не знаю. Надо полагать, по головке не погладят за их делишки. Если верить Министру, так их посадят в клетки и будут возить по всем городам и селам, как зверинец. Клетки, конечно, сделают железные, иные народ разнесет в щепки: каждый захочет хоть ущипнуть. А женщины на собрании в бригаде кричали, что они и за железом тех выродков достанут...

— Не будет ничего этого, — махнула рукой бабушка. Наконец она распрямилась и вытерла со лба пот. — А если и будет, так до нас не довезут. Никакого Гитлера со всеми его гитлерятами не хватит, чтобы расквитаться на людей загубленных. Копай-ка лучше и не морочь мне головы.

Я копаю, а глаза мои на улице. Гляжу и де верю — Смык бежит. Похоже, что все мои ультиматумы ему нипочем — он и не думает меня бояться. Счастье его, что бабушка рядом, я бы показал ему дорогу. А при бабушке нельзя. И Смык, видно, это понимает. Нахально подбегает к нашему забору и кричит:

— Капитуляция!

Я и головы не повернул.

— Капитуляция! — еще громче повторил Петька.

Что он там за чушь несет? Капитуляция какая-то.

— Чего? — не поняла и бабушка.

— Германия сдалась! По радио передают! — сказал наконец Смык по-человечески.

Так вот чего радио разыгралось! И Давид нам рукой махал, а бабушка говорит — святые трутни! Ну уж извините, чтоб я теперь грядки копал. Да и бабушка воткнула лопату в землю и побежала в хату.

Я забыл, что Петька — мой лютей враг, мы бежим по улице вдвоем и, кого бы ни встретили, кричим в две глотки:

— Слышал, дядя? Капитуляция!

Бросив сосунка, за нами увязался Глыжка. Мы промчались по нашему Нижнему долу, обрадовали женщин у колодца, постучали в окно Малаху, чуть не сбили с ног Мамулю:

— Капитуляция! Капитуляция! Капитуляция!

Потом сделали круг по Заглинищу, заскочили на бригадный двор, где уже никого не было, кроме деда Зезюльки. Покричали в глухое ухо и Зезюльке. Нам показалось, что и старик хотел бежать вместе с нами, протопал немного вслед, но потом вернулся.

Мы стучали в ворота, заглядывали в окна, а Смык залез на крышу Брыдкиной землянки и несколько раз крикнул в трубу:

— Брыдка, вылезай — капитуляция!

Брыдчиха не вылезла, а выскочила с метлой, но когда мы ей растолковали, что это на нас нашло, она метлу бросила и перекрестилась.

Наша тетя Марина заплакала.

Дед Николай подкрутил усы и побежал на село — хотел сам послушать громкоговоритель.

Нинка-бригадирша пыталась меня обнять, да я увернулся.

Антонина Александровна уже все знала сама и сказала:

— Поздравляю вас, дети, с победой.

Чмышиха спокойно заметила, что всё в деснице божьей.

Санька прошелся на руках.

Скок нам приказал:

— Бегите, мои голуби, по всем улицам — митинг будет!

А бабушка дома спросила:

— Ну, все село обегали? — и Глыжке погрозила пальцем: — Если б не эта питуляция, показала бы я тебе кабанчика! Бросил одного на лугу и удрал! Благодарю бога, что Германия сдалась, так уж и быть — прощаю тебя. Как-никак — вторая пасха.

Как я был комендантом

Вскоре после победы наша школа давала колхозникам концерт. Перед этим школьная уборщица тетка Марья долго вытирала мокрой тряпкой пианино, найденное когда-то нами на Брыдкином огороде. Его ради такого случая привезли из дровяника.

Это была нелегкая работа. Поскочиха недавно завела кур, и те любили время от времени посидеть на пианино. Хотя Скок и прикрывал его соломой, да разве от кур убережешься.

А потом выяснилось, что мыли и скребли впустую: оно все разболтано, как старая телега, и играть на нем впору разве что таким артистам, как мы с Санькой. Антонина Александровна очень жалела, что ей не доведется выступить. Директор ее успокоил, пообещав найти как-либо в городе настройщика, и пианино поставили в учительской пока что для мебели. Решили выезжать на балалайках.



Сценой было школьное крыльцо. Возле него собралась уйма народу: старики, женщины, инвалиды-фронтовики, колхозное и сельсоветское начальство. Люди расселись на скамьях, подперли спинами стены и тополя, расположились, поджав под себя ноги, на траве. Непоседливые мальчишки висли на перилах крыльца, взбирались на деревья. А на крыльце Васька Мамуля, старший из скоченят — Лешка и Бусликов Костик наяривают «Светит месяц». Выходит у них так хорошо и согласно, что любо-дорого слушать. Васькины и Алешкины пальцы быстро-быстро летают по струнам, и балалайки вроде бы выговаривают:

Светит, светит ме-е-сяц...

А Костик гудит басом на гитаре:

Бум-бум-бум-бум... ясный...

Кто-то в толпе мужчин не выдержал и вслух похвалил наших музыкантов:

— Во режут огольцы!

За «Месяцем» шла «Лявониha», а потом наш класс показал спектакль. В спектакле был лютый немецкий комендант Ганс, храбрая партизанская разведчица Галя и партизанский командир батька Язеп. Случилось так, что Галя попала в лапы к фашистам. Ганс на допросе угрожал ей расстрелом и размахивал пистолетом, но отважный батька Язеп со своим отрядом налетел на комендатуру, а Галя схватила лежавший на столе пистолет и взяла в плен Ганса.

Этот спектакль мы готовили давно, но долгое время у нас ничего не выходило. Все девчонки хотели быть Галей, все хлопцы — батькой Язепом или, на худой конец, хотя бы рядовым партизаном. А на Ганса охотников не находилось. Сперва Антонина Александровна предложила эту роль Смыку. Хлопец он рослый, лопухий, из него бы получился неплохой Ганс, но Смык уперся руками и ногами. Он сказал, что ему уроки учить некогда, а не то что... Но быть партизаном согласился охотно.

Выбор пал на Саньку. Но Санька так обиделся, что аж побледнел. Пусть ему ставят все двойки, какие только есть на свете, пусть его выгонят из школы, а Гансом он никогда не был и не будет.

Тогда Антонина Александровна взялась за меня. А я что — хуже других? Миллион мне давайте, все равно не возьмусь. Да еще сдаваться в плен какой-то Глековой Кате, которая будет храброй разведчицей! Что она в разведке понимает? Что она за цаца такая, чтоб я перед ней поднимал руки? Нет — и все тут! И не просите.

Но меня продолжали просить и уговаривать. Оказывается, у меня способности. Я один из всего класса могу блестяще сыграть эту роль. Возможно, когда-нибудь я стану прославленным артистом, если сейчас не зарю свой талант в землю. Буду вспоминать: «А помните, как я Ганса в школе играл?»

Что было делать? Может, и правда у меня большой талант. Только насчет того, чтобы сдаваться в плен Глековой Кате, это мы еще посмотрим. Дело покажет. Может, как-нибудь и выкручусь.

И вот я — немецкий комендант Ганс. На мне настоящий немецкий френч, точь-в-точь такой, как был у бабушки. Он залатан на локтях, рукава изрядно обтрепаны, однако узнать, что он немецкий, еще можно, только что ворот немного широковат. Как говорит Санька, моя шея в том вороте болтается, как чайная ложка в стакане.

На грудь мне прицепили настоящий немецкий орден, который предварительно пришлось долго чистить о кирпич. Френч подпоясан настоящим немецким ремнем, на пряжке — слова «Gott mit uns». Погоны вырезали из бумаги. Зато к вооружению не подкопаешься — ржавая сигнальная ракетница.

Все, должно быть, знают, какие сапоги были у сказочного кота. Так у меня и того побольше. Голенища широченные, порыжевшие. В них влезла пропасть портянок.

А чтобы зрители чего-либо не напутали, чтоб они сразу догадались, что я немец, а не кто иной, на рукав мне повязали лоскут белой материи, на котором чернилами была намалевана свастика.

И это еще не все. Санька почему-то решил, что без усов не годится. В два счета он добыл из трубы сажи, и у меня под носом появились усы. Точь-в-точь, как у Гитлера.

Чтобы быть пострашнее, я изо всех сил выкатил глаза, надул щеки и со зверским, кровожадным видом направился на крыльцо допрашивать Глекову Катю.

Успех был невероятный. Не успел комендант Ганс появиться в дверях, как грянул такой хохот, будто наземь с шумом и грохотом рухнул подгнивший высоченный тополь. Мальчишки прямо визжат от восторга, как поросята в мешке. Смеются женщины. На что уж мужчины серьезный народ — и те вытирают слезы от хохота.

— Ой, не могу! — кричит какая-то молодлица, хватаясь за живот.

А храбрая партизанская разведчица Галя, которой по пьесе в ее положении должно быть не до смеху, тоже заливается звонко и весело. Я сам с трудом заставил себя удержаться от смеха, это испортило бы весь спектакль.

Ганс сурово и грозно ведет допрос. Партизанка, как ей и положено, стоит с гордо поднятой головой и молчит. А в первых рядах шепчутся зрители:

— Это чей такой комик?

— Похоже, Назаров.

— Да нет, не Назаров. Это же старший хлопец Кириллы Сырца.

И вдруг наши Подлюбичи снова закатились хохотом; это я достал из кармана ржавую ракетницу и прицелился в Катю.

— Вот это пушка!

— Беги, мужики, бабахнет — костей не соберешь.

И в этом же духе шуточки посыпались со всех сторон.

По пьесе гордая и храбрая партизанка Галя должна была дать наглому фашисту пощечину. На репетициях мы договорились, что обойдемся без этого. Но тут, на сцене, на Катю что-то нашло, и я неожиданно получил довольно-таки хлесткую оплеуху. Зрители были в восторге. Детишки места себе не находили от радости, что «наши» не сдаются. А я был вне себя от ярости. Ах ты, конопушка рыжая! погоди, будешь идти домой, я тебе покажу!

Наконец Ганс-комендант положил на стол свой «пистолет» и отвернулся, чтобы партизанка могла его незаметно схватить. Но Галя почему-то медлила, и мальчишки, висевшие на перилах крыльца, в один голос зашептали:

— Кать, Кать, хватай, пока не видит.

И вот наступил самый неприятный момент из всего спектакля. Ракетница нацелена на меня, и Катя кричит:

— Руки вверх, бандюга!

— Правильно, — подсказывают из толпы.

А я заупрямился. Стану я перед нею руки поднимать, как бы не так! Да еще на глазах у всех Подлюбичей.

— Руки вверх! — слышится грозный голос с другой стороны. Это на крыльцо выскочил Санька со школьной учебной винтовкой в руках. На грудь ему свисает здоровенный клок пакли, который должен обозначать пышную бороду партизанского батьки Язепа. А дальше и вовсе пошло не по пьесе. Меня окружили Санькины партизаны, навалились гурьбой, наградили парой крепких затрещин, на совесть связали веревкой руки и под аплодисменты зрителей вытолкали с крыльца в коридор.

Хлопцы были так увлечены спектаклем, что все не могли его закончить. Даже в классе долго не хотели меня развязывать, кричали один другого грознее!

— А-а, попался, гад!

А за окном, на улице, не смолкают аплодисменты и многоголосый веселый гомон. Нас снова вызывают на крыльцо. Но едва конвоиры избавили меня от веревки, как я тут же размазал по лицу усы, сбросил с себя мерзкий френч, а тяжелые солдатские сапоги зашвырнул в угол. Лучше не быть прославленным артистом, чем каждый раз, пусть даже и во имя искусства, получать столько тумачков и сдаваться в плен какой-то девчонке. Вон какая шишка вскочила на затылке!

Но шишкой не обошлось. Хуже всех шишек и синяков была слава. Она пришла ко мне в тот же день и гонялась за мною по школьным коридорам и по улице, как собака:

— Хлопцы, комендант идет!

Первоклашки, народ вообще мирный, а когда имеют дело со старшим — тем более, и те шепчут вслед:

— Ганс, Гансь, Ганш...

Глыжка уже получил за это по шее.

Хорошо, что в школе вскорости кончились занятия и начались летние каникулы. Мы с хлопцами снова пошли на работу в колхоз, и со временем мое комендантство забылось.

Кому — штаны, кому — Артек

Наших прошлогодних пфердов у нас с Санькой отняли. Нам не хотелось их отдавать, как-то привыкли мы к этим огромным, медлительным, но послушным тяжеловозам.

Однако наше нехотение не приняли в расчет — приказ председателя. И пфердов отдали старшим хлопцам, которые поехали пилить и возить лес. В колхозе еще нет ни одной конюшни, ни одного амбара. Даже правление пока что квартирует у старого Михея.

Нам дали других лошадей, нашенских: Саньке — пузатую, как бочка, кобылу Слепку, а мне — Буянчика. Буянчик к лету заметно подрос, окреп и стал резвым и работающим коником. Ростом он был невелик, и корма ему нужно было меньше, чем остальным лошадям. Может быть, по этой причине, а может, потому, что ходил в любимчиках у Чижика, выглядел он довольно сносно.

Сперва Буянчик глядел на меня косо, прядал ушами, норовил укусить, а потом, видно, вспомнил, что я ему свой, и перестал показывать норы. Шаг у него ходкий, и воз он тянет без особых усилий.

Санька мне завидует. Его бочка неуклюжая, неповоротливая, все время спотыкается, тревожно стрижет ушами, только и помышляет о том, как бы выйти из борозды или свернуть с дороги и бежать вслед за своим жеребенком. Этот жеребенок Саньке в печенки вьелся: то побежит на луг, где ходят телята, и давай с ними нюхаться, то отстанет от воза на три версты и плетется понуро, то вовсе остановится и начнет щипать траву. А Слепка без него шага ступить не хочет.

Дни стоят погожие, жара. Глыжка не вылезает из озера, а нам с Санькой и искупаться некогда. Разве только когда приедешь с поля домой обедать.

Обеды у нас с Санькой известные: огромная глиняная миска щавелевого борща и три-четыре картофелины вместо хлеба. Проглотил за пять минут и — на озеро. Наши лошади пасутся стреноженные на лугу, а мы ныряем — кто дальше.

Хорошо все-таки жить на свете, когда нет войны. Тихо, спокойно. Разве что бабушка поворчит за новую дыру на штанах. Так это же дело привычное. Сколько я ношу штаны, столько она и ворчит. И чего она хочет, если я изо дня в день при лошади? Кавалеристы поди неспроста обшивают свои штаны кожей.

После купания, напоив лошадей, снова едем на поле бороновать картошку. Сегодня здорово припекает, и мы сняли рубашки, хотя спины у нас и без того, как у негров. Санька уже второй раз облезает.

В узком Михеевом переулке мы повстречали Катю. Белая косынка опущена на самые глаза. Видно, наша «разведчица» боится загара. А на носу и на щеках у нее столько высыпало конопли, что хватило бы на всех подлюбичских воробьев.

Вот уж кстати встретились! Сейчас я ей припомню тот спектакль.

Катя хотела нас обойти, да это не так просто. Она в сторону, и я направляю Буянчика в сторону, она — в другую, и я туда же.

— Хочешь, в крапиву загоню? — спрашиваю, чувствуя свое очевидное превосходство.

Катя отмахивается от лошади и испуганно моргает ресницами.

— Отстань, противный!

И что это за мода у девчонок? Чуть что не по ней, сразу — противный. А сама так уж краля писаная.

— Хочешь? — продолжаю наступать я.

— Нет, — сдалась наконец Катя и уже совсем без обиды сказала: — Ой, мальчики, вам же школа подарки дала. А я уже свой получила. Вот, платье несу. Ситцевое, в горошек.

Она развернула пакет и показала обновку: веселенькое такое платьице.

— А ты не врешь? Побожись!

Катя охотно побожилась, мы выкрикнули «ура», пришпорили босыми пятками своих скакунов и подняли такую пылицу на дороге, будто по ней промчался целый эскадрон кавалеристов. Уже возле школы спохватились: когда такое было, чтобы в школе давали платья? Может, она где-нибудь в другом месте взяла, может, ей сшили, а она, чтоб в крапиву не загнали, надула нас.

Но Катя говорила правду. В том году в нашей школе действительно выдали нескольким ученикам кое-что из одежды: кому платье, кому рубашку, кому шапку, кому штаны. Откуда взялись эти подарки, не знаю. Одни после

говорили, что в районе начальство выделило, другие — что директор где-то раздобыл, но как бы то ни было, Санька вышел из учительской с солдатскими брюками-галифе. Когда он развернул их поглядеть, не слишком ли длинны, сердце у меня так и заныло. Это была шикарная вещь!

А меня в учительской встретили так, будто собирались кроме галифе дать еще и гимнастерку. Глаза Антонины Александровны светятся сквозь очки счастливой улыбкой. Она рада, что мне так повезло. Наш всегда строгий, немного угрюмый директор Константин Макарович тоже смотрит как-то необычно.

— Поздравляю тебя, Ваня! — говорит он, протягивая мне какую-то розоватую бумагу и крепко сжимая мои пальцы левой рукой. Правая у него всегда висит, как неживая, и даже летом она в черной кожаной перчатке.

У меня уже и ладонь вспотела, а он все не дает галифе. Да и не видно его почему-то ни на столе, ни на диване, ни на пианино.

— Всего пять путевок на район, и вот я одну выпросил, — с гордостью сказал Константин Макарович. — Решили — тебе. В Артек.

Как обухом по голове! Теперь все понятно — галифе не будет. Хоть ты плачь от обиды. Кате — платье, Саньке — брюки, а мне — Артек. А чем я их хуже?

— Не нужен он мне, этот Артек, — дрогнул у меня голос.

Директор наконец выпустил мою руку и сел на диван. Радостные огоньки в очках у Антонины Александровны погасли.

— Не нужен?

— Не нужен — и все!

Они, перебивая друг друга, начали меня уламывать. Организм у меня, оказывается, совсем истощен. Мне нужно хорошее питание, нужно набраться сил, иначе это может плохо кончиться. А там, в Артеке, очень вкусно кормят.

Там я стану похож на человека, окрепну и подрасту. Потом сам им скажу спасибо.

Словом, говорят такое, что и слушать неохота. Будто я сам не знаю, что у меня за «организм». Конечно, малость кашеевский. Бабушка говорит, что от меня остались одни глаза. Но я же не хуже других. У Саньки тоже одни глаза. И у

Смыка. И у нашего Глыжки. А у директора и учительницы? Пусть-ка возьмут зеркало да на свой организм глянут.

— Не поеду!

А горы я когда-нибудь видел?

Тоже мне невидаль! А наше городище чем не гора? Зимой не каждый съедет на лыжах. Иной как грохнется — только снег столбом. Бывают, конечно, горы и повыше. Директор говорит, что прямо под облака, что на их вершинах живут орлы.

Что ж, может быть. И я не прочь был бы повидать те горы и тех орлов. Но как они не понимают, что не в чем мне туда ехать? Не стану же я трясти своими латанными-перелатанными штанами по всему Советскому Союзу.

А море я когда-нибудь видел? Купался я когда-нибудь в море?

А то они сами не знают. Купался я много, да только в Ситняге. Видел половодье. Иной год Сож разливается, как море, тот берег еле-еле разглядишь. Только и разницы, что вода не соленая.

А дельфинов я видел? А настоящие океанские пароходы? А шторм? А бурю?

Тут я и сдался. Что-то такое морское шевельнулось у меня в сердце. Забылись дырявые штаны, и малость пригложла тоска по неполученному солдатскому галифе. Так и быть, поеду в их Артек, если он в самом деле на море.

И до исхода дня, бегая за бороной, я все пытался представить себе море. Какое оно? Вспомнилось все, что успел прочесть в книжках из школьной библиотеки. Мое море спокойное и доброе, суровое и таинственное, с островом Буяном, на котором «пушки с пристани палят, кораблю пристать велят». Море — это капитан Немо и Робинзон Крузо, пираты и людоеды, осьминоги и акулы, кораблекрушения и не открытые еще острова. Возле Артека, видно, ничего этого не будет, зато я могу увидеть крейсер или даже подводную лодку. А то, если хочешь, кит заплывет или к берегу прибьет бутылку с каким-нибудь таинственным письмом. Да мало ли что может приключиться на море! Это вам не наш Ситняг, где кроме лягушек да окуней ничего больше не увидишь.

Прощай, любимый город, Уходим завтра в море. И ранней порой мелькнет за кормой Знакомый платок голубой...



Жаль, что Санька со мной не поедет. Конечно, я ему все потом расскажу, когда вернусь домой, если вообще вернусь. А то могу устроиться на корабль юнгой или хоть каким-либо подметалой, пока вырасту. Везет же другим, так почему мне не должно повезти?

Словом, под вечер я пришел с работы полностью настроенный на морской лад. Так и сказал бабушке:

— Еду на море! В школе путевку дали.

— Как бы еще на акиян не заехал, — такими словами встретила мое заявление бабушка, а когда поняла, что я не шучу, поблагодарила: — Вот спасибо тебе, мой внучек! Ты, стало быть, на море, а мы с Гришкой куда?

Конечно, она не против. Как говорится, дай-то господи. В другое время сама, может быть, сказала бы:

— Езжай ты, хлопец, в свой Артек, потому что глядеть на тебя страшно.

А нет, так взащей бы вытурила. Какая же это бабка не желает своему внуку добра? Но сейчас у нас не больно гладко получается. Сама она на ладан дышит: сегодня ходит, завтра — повалилась. Глыжка мал: где сядешь, там с него и слезешь. А я, значит, поеду, выгуляюсь там за лето, отъежусь на дармовых сладких харчах, а зимой положу зубы на полку. Бабушка, разумеется, не будет сидеть сложа руки, будет из кожи лезть, насколько здоровья хватит. Да ведь одними вот этими ее руками на три рта хлеба не заработаешь. А там, к зиме, и отец придет. Так он же с войны придет — не со щедрых заработков. Вот нам и будет и Артек, и хворобек. Посвищем в кулак.

А что наш директор говорит, так ему хорошо говорить. Ему только бы спровадить. А взял бы да хлеба дал на зиму, да торфу на болоте накопал. Тогда гуляй себе на здоровье, Иван Сырцов. Когда я обо всем этом хорошенько подумаю — могу ехать и на море, и за море.

Стал я думать. Верно, не гладко выходит, не суждено мне побывать нынче в Артеке. И не только рваные штаны не пускают: без отца, без матери куда ни кинь — все клин. Неизвестно, что и делать теперь с этой путевкой.

— Может, Глыжку пошлем? — спрашиваю у бабушки.

Бабушка только вздохнула. Подкормить этого шкилета не мешало бы, да куда ты его пошлешь одного. Ничего он еще не понимает. Отстанет где-нибудь, заблудится.

— Нет, — решила бабушка. — Хватит ему воды и в Ситняге. А бумажку эту отнеси туда, где взял. Так и скажи: «Большое спасибо, да не пора мне сейчас «артекатся»».

И до самого ужина она ворчала себе под нос:

— Сирот всегда обижают. У кого матери есть — тем штаны да платья, а за кого некому заступиться — тому Артек.

С войны — не с заработков...

Отец придет... Отец придет... Об этом теперь у нас в хате часто заходит разговор: то Глыжка спросит, то бабушка, прослышав, что кто-то из односельчан вернулся с войны, тяжело-тяжело вздохнет. Пора, казалось бы, и нашему; она уже долго не протянет. И так зажила на этом свете. Гляди-ка, семьдесят скоро стукнет, если еще не стукнуло. Кто их считал, эти годы? Это теперь напридумали разных метрик-шметрик, а прежде никаких хворобе-трик не было. Вот она и говорит: если лето проговеет, то и ладно. Дед Филипп, который умер, когда нас с Глыжкой еще и на свете не было, каждую ночь ей снится. Будто бы срубил он новую хату напротив нашей и зовет к себе бабушку жить. Неспроста это.

А отец пришел неожиданно, на исходе лета. Только сели обедать, только бабушка супу налила, калитка — скрип.

— Ой, солдат какой-то, — охнула бабушка, а я глянул в окно — отец. Только с усами, как у деда Николая, буденновскими. Глыжка забыл подуть на горячий суп, обжег язык, бросил на стол ложку и теперь вытирает слезы. Я не знаю, что мне делать — то ли сидеть, как сидел, то ли бежать навстречу.

Отец... Какой-то он не такой, каким был, каким я его помнил, — и ростом вроде бы поменьше, и старше гораздо. На шинели погоны с желтыми, уже не новыми лычками. Командир, значит.

Все это: и шинель, и погоны, и вещмешок за плечами — я успеваю заметить, пока он обнимается с бабушкой.

Обнимается с бабушкой... Такого мне никогда не доводилось видеть. Всю жизнь они были немного, как говорится, на ножах. Бабушке не нравилось, как отец точит мотыгу, рубит дрова, колет кабана, а ему — что без ее указки шагу нельзя ступить. А теперь вот обнимаются.

Глыжка разинул рот — того и гляди, ворона влетит, только глазами лыпает.

Усы у отца колючие, как щетка. Они щекочат мне щеки, лоб и даже затылок. А я слышу, что отец пахнет не так, как прежде, не так, как мне помнится. Тот запах я мог отличить от тысячи других — запах застарелого пота, сосновой смолы и табака. А теперь все забивает какой-то незнакомый запах новых ремней.

Глыжка послушно дал взять себя на руки, но старается отвернуться от усов и страдальчески смотрит на меня. Отца Глыжка ждал не меньше, чем мы с бабушкой, но, видно, не думал, что он такой, и теперь почему-то дичится, стесняется.

Вдруг отец оставил нас и отвернулся к окну, хотя на улице было пусто. Бабушка растерянно теребит в руках фартук, а он все смотрит на улицу и жуёт ус. О маме он ничего не спросил, и бабушка пока не обмолвилась ни словом. Но мне она вспомнилась. Вспомнились ее горячая рука, слеза, как бусинка, на мочке уха, ее тихий шепот: «Ведите себя хорошо... Жалей братика. Отец придет...»

Отец пришел, смотрит в окно и кусает усы. Потом он вздохнул, провел всю пятерней по лицу, будто хотел скомкать его, как бабушка свой фартук, и, стараясь, чтоб мы не заметили, как дрожит его голос, хрипло проговорил:

— Ну, вот и дома... Давайте обедать.

Ого, какая у него банка консервов! И хлеб армейский, в форме печеный, а не на капустных листьях. И медали на гимнастерке звякают. И орден Славы есть.

После обеда отец принялся разбирать свой вещмешок. Достал первым делом бритву, помазок, оселок. Все это положил на место, туда, где они лежали до войны. Пару солдатского белья отдал бабушке, чтобы спрятала в сундук. Алюминиевый котелок поставил на стол. Потом протянул мне какой-то сверток. Я развернул — черные в полоску брюки.

— Прикинь, — велел отец.

Брюки были широкие и длинные, зато почти что новые.

— Как раз впору, — заметила бабушка.

— Сойдет, — согласился отец.

А Глыжке достались солдатская звездочка с шапки и ножик.

Больше в мешке ничего не было, кроме хлебных крошек и рассыпанного табака. Бабушка была явно разочарована. Когда отец вышел вытряхнуть мешок, она спросила словно бы у самой себя:

— Что ж он, ничего больше в той Германии по нашел?

— А ты же сама говорила: с войны — не с заработков, — напомнил я.

— Оно-то верно, — согласилась бабушка. — Да ведь у кого голова на плечах, тот принес что-нибудь: то ли камушков для зажигалок, то ли еще чего. Вон Ахрем из Лаптипа иголок приволок и на базаре продает.

Меня прямо злость взяла. Нашла с кем равнять отца — с Ахремом. Как сделал отец, так и правильно. Станет он рыскать по той Германии, иголки искать. Что он, за иголками туда ходил?

Бабушка тут же в обиду:

— Ну известно, теперь вы герои... С отцом. Теперь я вам не нужна. Теперь я старая дура...

И вышла в сени. Вскоре там заскрежетала наша мельница — наши жерновки.

А вечером у нас была полна хата гостей. Каждый принес кто что мог. Теперь такая мода пошла: приносить с собой. Кто бутылку тащит, кто капуста миску.

С дедушкой Николаем отец трижды поцеловался.

— Ну вот, видишь... Ну вот... и хорошо... — Старик хотел заплакать, уже губа дрогнула, но тут кто-то из гостей пошутил:

— А усы-то у племянника поболее, чем у дядьки, А ну-ка, померяйтесь.

И дедушка не заплакал, хлопнул отца по плечу и улыбнулся.

Скок прискакал со своей палочкой и с порога мелко сыпанул по хате, словно целый заряд гороху выпустил:

— Чую, мой голубь, чую где жареным пахнет! Ну, здоров, фронтовик! Много медалей нахватал? — и хлопнул от восторга в ладоши, хотя медалей могло быть и побольше. А, мой голубь, целый иконостас.

Тетя Марина пришла со своей оравой. Орава проворно забила на печь, а тетя сидит на скамье и то улыбнется, взглянув на отца, то вдруг начнет вытирать уголком платка покрасневшие глаза. Хоть бы она сейчас не завела свое: «Ой, не могу я, не могу!»

Словом, все пришли: кумовья, сваты, дядья, тетки. Лишь соседа деда Мирона нет. И тетиного Андрея. Оттуда, где они сейчас, в гости не ходят.

Мы с Санькой тоже, как взрослые, за столом. Глыжка рядом с отцом втиснулся и так уж рад. По глазам видно.

Гости выпивают и закусывают. Нам с Санькой тоже какой-то кислятины налили. Это бабушка деду Николаю приказала:

— Капни уж и им, Микола. Женихи уже. Нужно...

И такие тут разговоры пошли — только слушай. И про Германию, и про русский народ, и про что хочешь.

— Ну, думали, под корень выкосим, чтоб и на развод не осталось, — начал слегка захмелевший отец. — У каждого накипело. А пришли — не поднимается рука. Ну развеж ты его станешь бить, немчонка несчастного, если он... Э-э, да что тут говорить? Я сам думал: ну, дайте только добраться до вашей поганой Германии. А дошел — и что? Ничего... Помню, в одном городке было. У них они дорфами называются. Ну там, скажем, Ивандорф, Васильдорф.

Только по-ихнему. И вот из углового дома — бац! — и чуть мне не в плечо. Пуля рядышком хлюп в стену. Я туда. И что вы думаете? Такой вот, как эти, из гитлеровских волчат. Забился в угол, трясется. И боится, вижу, до того... не за столом будь сказано. Ну что, стрелять и его будешь? Выхватил я у него автомат (счастье мое, конечно, что патронов в нем не было). Выхватил, значит, автомат и — за ухо. Ах ты, говорю, желторотый... Тут, правда, фрау выскочила. Также в слезы. А, пропадите вы пропадом!

— Розгой нужно было, — посоветовал дед Николай, — розгой, чтоб сесть не мог.

— А есть хоть у них лоза на розги? — спросила тетя Марина.

— Насчет лозы не знаю. А что деревья в лесу и те под номерами — это факт.

Скок вдруг ударился в политику:

— Ты мне вот что скажи, мой голубь. Ты там ближе был. За все, что они тут понатворили, будут они платить или нет?

— А как же! — подтвердил отец. — Рапарацию с них возьмут.

— А я бы так сделал, — вмешался дед. — Я бы так им сказал: вы мне сирот насиротили? Насиротили. Много насиротили. А кто их кормить-поить будет? Кто им штаны покупать будет? Кто учить? Так вот, сказал бы я, давайте мне на каждого сироту... ну там десять или двадцать тысяч. Словом, чтоб не голодали и доросли до своего хлеба. И пока не вырастут, нигде вы от меня не спрячетесь, голубчики! — Дед так грохнул кулаком по столу и так глянул на Скока, словно это он должен был платить репарации и не хотел.

— Ну, пусть бы и так, — согласился Скок.

— Нет, только так! — погрозил кому-то пальцем дед Николай.

И тут заговорили все вместе, не слушая друг друга.

А хат сколько сожгли? А скотины сколько погибло? А мало ли еще чего? Сколько это лет спину гнуть нужно, чтобы снова все нажать!

— И им досталось, — заметил на это отец.

Скок так и взвился.

— Им досталось? Переспросил он. — Так им и надо! Мне их не жаль. Сами виноваты. Я их сюда не звал. Звал я их сюда? — обвел он взглядом застолье и сам себе ответил: — Нет! А они прилетели и бомбу в мой огород кинули. Я им бомбы в огород кидал?

— Не все виноваты, — перебил отец, — Иной бы, может, и не хотел, да не хотела коза на базар, а ее за рога — и повели... Кто там у народа спрашивал, чего он хочет?

Но Скока переубедить трудно.

— Люблю я тебя, Кирилл, — признался он. — Хороший ты человек. Только насчет коз ты мне не говори. Одно дело коза, другое — человек. У человека шея есть. Вот она, шея. — Сосед показал, где именно она у него находится. — А для чего человеку шея? Я полагаю, не для того, чтоб хомут таскать. На шее он голову должен иметь и думать: куда это меня Гитлер посылает? Нет, верно

Николай говорит: на каждого сироту по сто тысяч и ни копейки меньше! Так вот!

Долго судили-рядили за столом, какие взять с немцев репарации. И так прикидывали и этак, а все оказывалось, что чего-то еще не учли. Наконец Скок снова спросил у отца:

— А чего ты гармошки из Германии не привез?

— Зачем она мне? — удивился отец.

— Нет, ты мне скажи, — стоит на своем сосед, — почему гармошки из Германии не привез?

— Не нужна мне их гармошка.

— Не нужна, а зря. Привез бы гармошку, я бы сейчас э-эх как сплясал! Не гляди, что нога хромая, мой голубь! Такую «Барыню» тебе оторвал бы — любо-дорого, — и Скок притопнул под столом хромой ногой по полу. Мы с Санькой думали, что он сейчас пустится в пляс и без гармошки, но вместо этого Скок вдруг затянул:

Серая утя, эх, серая утя Да на море ночу-у-ет!

В каганце задрожал огонек, на печи проснулись тетины малыши и высунули заспанные головы из-за трубы. За время войны голос у Скока сел, стал слегка хрипловатым, но мотив он вел правильно, расцвечивая песню разными переливами.

Умеет и любит петь за столом тетя Марина. В таких случаях она меняется на глазах. Вот и сейчас — раздумянулась, повела плечами, словно сбросила с них какую-то тяжесть, и с чувством, в лад подхватила:

Серая утя, эх, серая утя Да все горечко чу-у-ет.

— Ну, а вы чего? — спросил у нас Скок. И мы с Санькой тоже запели, вернее, загорланили, хоть уши затыкай:

Первое горе да первое горе — Ой, свекруха лиха-а-я. А второе горе, а второе горе — Ой, детина мала-а-я.

На третьем горе Скок нас с Санькой остановил.

— Да ну вас, хлопцы, — махнул он рукой. — Толку с вас, как с козла молока. — И снова к отцу, как слепой к забору: — Нет, почему ты гармошки из Германии не привез?

Песня разладилась. Снова заговорили каждый о своем: дед все считает, сколько бы ему понадобилось репараций на сирот; Скок то ли жалуется, то ли хвастает, как он был председателем сельсовета:

— Понимаешь? Берись, говорят. Один ты, говорят, мой голубь, можешь... А ты сам посуди, зачем мне это? Власть мне ни к чему. Я к ней не привык. Бабы лезут, мой голубь, то им лесу дай, то хворобы, то холеры. И не ты над ними, а они над тобой. Ну, а теперь Никиту выбрали. Пусть покрутится. Он помоложе, и с грамотой у него лучше. — И вдруг спохватился, будто испугался, как бы отец не подумал, что он вовсе никакое не начальство, затряс в воздухе пальцем: — Но я депутат! Хочешь, сделаем тебя бригадиром? Я поговорю с Дьяком. Хочешь?

— Нет, Захар, — улыбается отец. — Не нужно. У меня вон инструмент лежит, если хлопцы не растащили. Работы хватит.

— Верно, — обрадовался Скок. — Правильно! Ты нам построй школу... И колодец на нашей улице... И срубы всем поставь!

Уже собираясь домой, Скок снова вспомнил:

— А гармошки из Германии ты зря не привез. Эх, барыня-барыня...

Так отец пришел с войны.

Утром в сенях Глыжка поливал ему на руки. А вскоре, когда я с ведром шел к колодцу, брат на улице уже хвастал товарищам:

— Во какая дырка у моего отца на плече: отсюда и досюда.

— А у моего пальцев на руке нет, — перебил его Феклин мальчонка, — и две медали есть.

— А у моего...

Отец в сенях роется в ящике с инструментом, озабоченно почмокивает в усы — все поржавело. И топоры затупились, выщербились. Это я постарался: и черепки для жерновков на них бил, и гвозди перерубал.

Бабушка стоит рядом, руки — под фартук.

— Крест Одаркин совсем подгнил, — вздыхает она. — Поставили тогда сосновый...



— Видел уже, — отозвался отец. — Починю...

И еще громче загремел железом в ящике.

Мы не боимся вьюги

Спросите у Саньки, что такое год, и он вам скажет: это зима да лето. Миновало первое мирное лето, и пришла зима. Я, Санька, Катя, Сонька-Кучерявка и Ганка Пырша, самая тихая и незаметная девочка из нашего класса, сидим в холодном и темном коридоре райкома комсомола.

До райкома от наших Подлюбич километров пятнадцать, и, чтоб не опоздать, мы вышли из дому еще затемно. Дул холодный встречный ветер со снежной крупой, дорогу сковала гололедица. Все мы в резиновых бахилах, а на Ганкиных бурках шикарные блестящие галоши, выпрошенные ради такого дня у старшей сестры. Галоши красивые, но они то и дело спадают, и Ганка хнычет, чтоб мы ее обождали. Мы злимся на эту плаксу, а больше всех кипит Санька:

— С такими комсомольцами мы далеко уйдем. Боишься — так возвращайся домой и сиди у мамочки на ручках.

Ганка, остроносенькая, маленькая, хотя она и старше любого из нас на целый год, оправдывается тихим, виноватым голосом. Напрасно Санька думает, будто она боится. Для нее ничто любые трудности, любая опасность, даже смерти она не боится, а только волков да еще разве... мышей.

Но Саньку такими разговорами не проймешь. У него твердое мужское сердце, и, будь его воля, он таких, как Ганка, и близко к комсомолу не подпускал бы.

— Ой, форсун несчастный, — заступает за подругу Сонька, — молчал бы уж.

Но Санька мигом поставил заступницу на место.

— Возьми-ка вот лучше гвоздь. Волосы накрутишь.

Сонька обиделась и умолкла. Она всем хвастает, что волосы у нее вьются от роду, но мы-то знаем, что без горячего гвоздя тут не обходится. А сегодня она особенно постаралась.

В городе было затишнее, чем в поле, и вроде бы даже теплее. Выглянуло солнце, мы повеселели. Даже Ганка забыла про свои недавние страхи и вместе с нами посмеивается над собой.

А в райкоме мы снова притихли. Сидишь — и сердце как будто не на месте. А вдруг не примут?

— Ой, девочки, я, кажется, обязанности забыла, — каждые пять минут тревожно шепчет Ганка, и Санька, может, в десятый раз повторяет ей обязанности. Кате кажется, что она нетвердо знает права, хотя Антонина Александровна приняла у нас экзамен по всему Уставу. Сонька боится, что у нее мало общественных нагрузок: она только «Лявонику» танцует.

А что я скажу, если спросят про эти самые нагрузки? Разве что плакаты припомнить?

В нашем классе считают, что Катя хорошо рисует. А по-моему, так и смотреть не на что: розочки, георгиначки, листики и разная такая чепуха. Люди и лошади у нее не получаются. Лошадей одним махом рисует Санька, а людей — я. Однажды на географии я такую Катю нарисовал — самому смешно стало. Правда, Санька не сразу догадался, кто это, да иначе и быть не могло. У меня же не портрет, а карикатура. Особенно я насчет носа постарался. И конопля на щеки не пожалел.

Кате мое искусство не понравилось, а нашей сердитой географичке Дарье Николаевне очень даже пришлось по душе.

— Молодчина, Сырцов, — сказала она, перехватив мой рисунок, путешествовавший по партам, и поставила мне по географии громадную двойку.

Видно, моя слава докатилась и до учительской, потому что после уроков меня с этой конопатой задавакой вызвали к директору. Я думал, станут пробирать, но ничего такого не было. Нам дали трубку обоев и велели нарисовать к Октябрьским праздникам плакат. Так я выбился в художники.

Теперь мы с Катей частенько занимаемся тем, что, как говорит моя бабушка, переводим зазря директорские обои. Я развертываю трубку дома на полу и, лежа на животе, карандашом вывожу большие буквы: «Да здравствует...» Санька, который по своей доброй воле помогает нам, сидит рядом и жмурит то правый, то левый глаз — следит, чтобы было ровно. Катя делает самую черную работу: трет на терке свеклу, выжимает из нее сок и этим соком красит вслед за мной. Здорово мы придумали с этой свеклой. Правда, выходит тускловатое, так это ведь вам не краска.

Катя мажет старательно, и я часто украдкой наблюдаю за нею. Странное дело — вечером у нее не так уж и много этих самых конопушек. А что ресницы

самые густые и длинные, так это и днем видно. Сама Катя тонкая и гибкая, как тростинка. Интересно, те леди, за которых сражались когда-то на своих турнирах рыцари, были такие же?

Если б мы жили в те давние времена, и я был рыцарем, и на Катю напал бы какой-нибудь злодей, ох ему бы не поздоровилось. Конечно, имени своего я бы не открыл. Во-первых, хлопцы в классе засмеют, а во-вторых, она сама еще что-нибудь подумает.

Частенько мои рыцарские мечтания кончаются тем, что Санька вырывает у меня из рук карандаш и кричит:

— Посмотри, что ты написал!

Тогда Катя отрывается от своей работы и тоже смеется весело и звонко. И чего она форсит? Иной раз сама так намажет, что хоть стой да гляди, хоть плюнь да уйди. Леди несчастная.

Разумеется, всего этого в райкоме не расскажешь, но про плакаты можно. Все-таки нагрузка.

В райком мы пришли рано, часов в одиннадцать, с расчетом, что нас быстро примут и мы засветло доберемся до дома. А нас все не принимают и не принимают. За дверью с табличкой «первый секретарь» не умолкает гомон. Время от времени оттуда выбегает проворная и верткая, как синица, девушка. Она то звонит из соседней комнаты по телефону и требует ответа, выехал ли в район некий Пинчук, то приказывает немедленно принести какую-то сводку, то призывает к порядку двоих незнакомых нам хлопцев, расшумевшихся в коридоре:

— Тише, товарищи, обсуждается важный вопрос.

На нас эта синица и глянуть не желает. Лишь один раз, проходя мимо, бросила:

— Обождите немного. Вы идете после клубов.

Один раз из-за той же двери показался высокий молодой мужчина. Худой, усталый, и очень строгий с виду. На нем была командирская гимнастерка, перетянутая ремнем со звездой на пряжке, и это придавало ему еще больше строгости и важности. Припадая на одну ногу, он проскрипел сапогами в конец коридора и исчез за другой дверью. Парни, которых синица просила не шуметь, сразу притихли. Это был сам секретарь.

Такого большого начальства я еще никогда не видел. Да и никто из наших, верно, тоже. Они совсем присмирели. Лишь Ганка прошептала:

— Ой, девочки, не примут...

А за дверью с табличкой все говорят да говорят. Мы уже знаем, что там идет бюро. Видно, бюро — это не шуточки, если каждый, кто туда входит, задерживается на минуту у порога, еще раз осматривает свою одежду и приглаживает волосы.

— Ой, девочки, не примут...

Незнакомые шумные парни куда-то исчезли, а когда вернулись, стали пить воду из ковша на цепочке и хаять какую-то столовую, где котлеты из одного хлеба. А мы боимся и на минутку отлучиться: вдруг там разберутся с клубами и позовут нас. Да, честно признаться, не при таких мы деньгах, чтобы ходить по столовым.

Декабрьский денек короток. Только что было совсем светло, и вот уже серым стало небо, потемнело в коридоре, посинели стекла в окнах. А нас все не вызывают. Мы уже тревожимся, как будем ночью идти домой: все-таки не близкий свет. Ганку загодя одолевают страхи. Одна Катя спокойна. Где-то поблизости живет ее старшая сестра Варвара. Работает в районной газете. Если что, можно будет у нее переночевать.

Наконец верткая райкомовская девушка нас обрадовала и напугала.

— Готовьтесь, — обронила она, пробегая по коридору, и в голове все на свете смешалось: и права, и обязанности, и комсомольские награды, и наши общественные нагрузки, Ганка даже не может вспомнить, когда она родилась. Вылетел месяц из головы — и все тут.

Но пугаться было рано. Синица велела нам минуту еще обождать и пригласила в кабинет секретаря тех двоих парней, которым не понравились котлеты. Они пригладили руками чубы и прошли вслед за нею.

А стекла в окнах совсем почернели. Ганка, поглядывая на них, не перестает хныкать. И в кого она удалась, такая плакса? Думает, у комсомола нет более важных дел, всё бы нянчились с такими трусихами. Тут должны все бросить и носиться с нею, как с писаной торбой. Ганка отвернулась к стене, украшенной плакатом «Восстановим разрушенное хозяйство», и обиженно молчит.

Парни пробыли не минуточку, а добрый час, если не больше. Один из них вышел совсем расстроенный.

— Хорошо им тут говорить и давать выговора, — чуть не плакал он.

И вот наша очередь. Сонька-Кучерявка тайком погляделась в обломок зеркальца. Мы с Санькой тоже пригладили свои чубы.

Первым пошел Санька, серьезный, немного бледный. Нам показалось, что его держат долго-долго. Как он там? Что он там? Скоро ли? Катя не выдержала и прильнула к двери, хотела подсмотреть в скважину. А дверь словно ждала этого — отворилась так стремительно, что Катя чуть не отлетела к порогу.

— Приняли! — выдохнул Санька, будто только что переплыл Сож. На щеках у него горели красные пятна. — О международном положении спрашивают, — предупредил он, когда мы наскоро рассмотрели его комсомольский билет.

Ганка снова перепугалась:

— Санечка, а какое у нас международное положение?

— Сложное, — важно ответил он. Ему теперь можно важничать.

В кабинете было полно народу, но я никого не видел. Лишь секретарь почему-то врезался в память. Его усталые глаза с любопытством поглядывают на меня, а тонкие костлявые пальцы гасят окурочек. Пепельница перед ним полнехонька.

Я что-то говорю, кажется, рассказываю автобиографию, отвечаю на какие-то вопросы, а секретарь кивает мне, словно подбадривает: так-так, правильно, молодчина. Все идет хорошо. По глазам его вижу, что все идет хорошо. И вдруг кто-то у меня за спиной спрашивает:

— Чем ты занимался во время оккупации?

От неожиданности я растерялся. Прямо в жар бросило. Я почувствовал, как щеки у меня наливаются краской. Не примут. Конечно, не примут. Если б я убил хоть одного фашиста, если б я нашел партизан, сейчас было бы что сказать. А так что сказать? Как гранаты искали? Как немецких лошадей отказывались поить? На смех поднимают.

— Сельским... хозяйством, — выговорилось как-то само собой.

Так оно и было — сельским хозяйством. Вспахивал с бабушкой огород, пас корову.

— Это не ответ, — буркнул тот, за спиной.

И тут вмешался секретарь.

— Хватит, Толик, — устало махнул он рукой. — Ну чем он мог заниматься во время оккупации? Ты сам подумай... Кто «за»?

И вот у меня в руках комсомольский билет. В коридоре я сравнил с Санькиным. Одинаковые.

— У меня номер меньше, — похвастался все же Санька.

На улице совсем стемнело, и похоже, что начинается метель: тропинки переметает сыпучий снежок. Но на душе легко и радостно. Как гора с плеч свалилась. Нас всех приняли, даже эту плаксу в блестящих галошах. И пусть теперь бушует любая вьюга. Что бы мы были за комсомольцы, если б испугались вьюги?!

Санька с Кучерявкой и Ганкой решили все-таки зайти в столовую, а мне там делать нечего. В дырявом кармане гуляет ветер, а признаваться в этом неохота. Меня почти силой затащила к своей сестре Катя.

...В тесной комнатухе жарко натоплена печка, просто дышать нечем. А может, это только мне жарко? Варвара, молодая и красивая женщина, встретила меня так приветливо, словно давно ждала в гости. На столе дымится горячая картошка и лежит аппетитная селедка. У меня отчего-то ком подкатил к горлу и в глазах замелькали разноцветные мухи.

Есть? Есть я не буду, я не голоден.

— Ничего слышать не хочу, — строго сказала Варвара и потянула меня за рукав, — ступай за стол.

Что они, смеются? Стану я есть у чужих, чтобы что-нибудь еще подумали. Не было такого никогда и не будет. У меня глаза не собачьи. Правда, если б не Катя, если б это Санька здесь был, я бы еще подумал. А так и не просите. Я не голоден.

Варвара наконец сдалась и сказала Кате:

— Приглашай ты. Это твой гость.

Катя покраснела, как мак, даже конопушки пропали, и как-то хмуро буркнула:

— Ну, пошли...

Знал бы я, лучше б и не заходил. Стыда не оберешься. Не голоден я. Не хочу.

Но на чай с леденцами меня все же уломали. Чай — это не еда, чай — это вода, чайку попить можно, если им так уж хочется. К чаю Варвара незаметно подсунула мне кусок хлеба, и я также незаметно его проглотил. Верно, забыл что не хочу.

А после ужина — новая напасть. Куда это мы пойдём на ночь глядя в мороз и вьюгу? Шуточки это нам? Никуда нас Варвара не пустит, и думать нечего.

Только этого мне и не хватало, чтобы хлопцы смеялись: мол, темноты испугался. Не хватало, чтоб каким-нибудь зятем потом обзывали. Да и как это я останусь, а Санька с девчатами пойдут?

Катю Варвара так и не отпустила. А мне она не командир. Сказал спасибо и ушел.

А ночь в самом деле была темная. В городе ни огонька, на улицах ни души. Только ветер завывает в руинах да слепит глаза снегом. Кучерявка и Ганка идут молча, озираются по сторонам, стараются не отставать от нас с Санькой. Наслушались разных басен про воров и разбойников, которые по ночам раздевают на дороге людей. А то, бывает, заведут в эти каменные трущобы и прикончат. На базаре обо всем этом чего только не рассказывают.

Мы с Санькой не очень-то боимся разбойников. Зачем мы им? Наши бурки и свитки не дорого стоят, а денег и на развод нет. Не больно разживутся. Да и что это за комсомольцы, которые боятся каких-то разбойников?

А на душе все-таки отчего-то тревожно. Громыхнет ветер ржавым листом жести, проскрипит на ветру старое дерево — и по спине пробегает холодок.

Я добрался до дома к полуночи. Бабушка долго гремела засовом и все ворчала:

— Вот это комсомол! Ничего себе комсомол! Это что же, все в комсомоле шляются по ночам? Так тебе еще, мой хлопец, рановато. — И уже залезая на печь, смягчилась: — Бери там бульбу за заслонкой.

Картошка уже совсем холодная, но такая вкусная! Я обмакиваю ее в соль и не могу наесться.

... Гм. Чем я занимался во время оккупации. Собак гонял. Так и нужно было сказать тому слишком бдительному Толику. Да ничего, и так хорошо обошлось. Приняли. Теперь мы с Санькой — комсомольцы.

...А билет нужно будет обернуть чистой бумагой, чтоб не замарался.

Катя, конечно, трусиха. Вроде бы Варвара не отпустила, а это она сама испугалась метели.

— Что, не покормили там? — подала с печи голос бабушка. Снова она за свое!

— Да хватит уже!

— Молодчина! Умница! Рявкой на старую бабу. Это там тебя научили?

Варенье учительницы и Санькина аптека

По бабушкиному мнению, фасолевый суп не требует ни приправы, ни заправки. Фасоль сама по себе и то, и другое. Фасолевый суп даже совсем пустой, запросто можно есть без хлеба — и будешь сыт. Фасоль — самый лучший, самый питательный продукт на земле. От нее еще никто не умер и не опух. Такого бабушка не слыхала.

А у меня, у Глыжки и у отца фасоль сидит в печенках. Суп — из фасоли, каша — из фасоли, пюре — из фасоли. Фасоль на завтрак, на обед и на ужин. Фасолью пропахли горшки, миски, ложки, стол, печь — вся хата. Это была фасольная зима.

Бабушка сияет от гордости — как мудро обеспечила она семью харчами. Сеять в прошлую весну было нечем. Хоть ты сам в землю ложись. Другой бы на бабушкином месте растерялся, оставил огород пустовать и теперь пошел бы с сумой по миру. А она — нет. Она не такая. Пораскинула мозгами: бульбы, чтобы посадить, нужен воз, а фасоли — горстка-другая на грядку. И побежала по соседям. Кто дал миску, кто — полмиски, и набралось без малого решето.

Еще никто до сих пор у нас не сеял столько фасоли.

Обычно ею обсаживают межи, а бабушка размахнулась на пол-огорода. И с тех пор начала агитацию: «квасоля» — наипервейший продукт.



Осенью от фасоли не было спасения. Она висела на заборе, сохла под поветью, в сенях, на чердаке, на завалинке, в дровянике. До самого снега мы помаленьку лущили сухие стручки руками, молотили их вальками на полу. Куда ни глянешь — всюду фасоль: в мешке, в кадке, в мисках, в решете. Фасоль сушится у нас под боком на печи, и Глыжка бомбардирует ею по утрам хату через бумажную трубочку, пока не заработает на орехи.

Кое-как мы ее высушили и ссыпали в мешки. Но высушили, должно быть, не до конца: суп отдает прелью. Конечно, дело тут не в фасоли, просто мы заелись. Посидели бы, как другие, впроголодь — не то бы запели.

Но к весне фасоль стала вкуснее. Кашу и пюре бабушка больше не хочет готовить, а супы теперь не такие густые, как осенью. Старая все чаще вздыхает и бранит себя за то, что шиковала зимой. Ворчит и на отца, когда того нет дома. Какая польза с того, что он изо дня в день ходит в колхоз? До осени его трудодней не укусишь. Да и там еще неизвестно, широко разевать рот или нет. Только и счастья — щепки.

Отец сейчас ставит сруб для правления, и над щепками он вроде как бы хозяин. Пойдешь, наберешь мешок, и никто слова не скажет. Иной раз и Санька со мною ходит. Им с матерью тоже дрова с неба не валятся.

Но Санька носит мешки не большенькие: он по сравнению со мной слабак. Сопит, кряхтит, обливается потом и у каждого двора, где есть скамеечка, останавливается передохнуть. Под глазами у Саньки синё, нос вытянулся и заострился, а сам, как говорит моя бабка, очень уж хилый. И при этом добавляет: — Вот вы носы воротите: «квасоля-квасоля», а она силу дает.

Но это еще неизвестно, отчего Санька стал таким: то ли оттого, что сидит без фасоли на одной картошке, то ли от того, что много книжек читает. Его мать, тетка Марфешка, часто жалуется: не оторви от книжки силой — поест забудет, не выгони из дому погулять — так и будет весь день сидеть крюком. А ночью того и гляди, какбы хату не сжег. Керосину нет, так он где-то бензину раздобыл, соли в него насыпал, чтоб не шибко пыhalo, и сидит при каганце до петухов, глаза себе портит. Но оно все равно пыхает, хвороба на него.

А еще Санькина мать боится, как бы он не зачитался вконец. Долго ли теми книжками мозги высушить?

Любит Санька книжки, и я знаю — завидует тем, кто их пишет. Он и сам хотел бы стать, если не офицером, так писателем или поэтом. Это, конечно, в том случае, если не придется идти в фабзайцы.

Но писателем Санька стал раньше, чем можно было предположить. Однажды, когда мы принесли со стройки особенно хороших щепок, сухих и смолистых, мой приятель, громыхнув полным мешком об пол в сенях и напившись из ковша воды, вдруг приказал мне решительно:

— Поклянись, что никому не скажешь.

— А что такое? — хотел было я сплутовать.

— Нет, ты сперва поклянись. — И лишь взяв с меня присягу по всем правилам, он как-то смущенно признался: — Я вчера на печи басню сочинил...

Санька басню сочинил! Вот это да, еще один баснописец нашелся.

А он полез на печь, порылся там и сунул мне под нос листок:

— На, посмотри, если не веришь.

И стал читать. При этом ему почему-то непременно хотелось то намотать на палец и вырвать клоч своих соломенных волос, то оторвать свое красное ухо.

Басня у него получилась складная. Почти как у Крылова. Будто бы какая-то свинья забралась за стол. Этого ей показалось мало, так она — и ноги на стол. Хозяин страшно разозлился, схватил кочергу и вытурил наглу в сени.

Такая, значит, басня. Только без морали. Насчет морали Санька думал-думал, да так ничего и не придумал. Мораль не больно-то легко дается. Но соль все-таки есть. Под свиньей он имеет в виду фашистов, а под хозяином — наш народ.

— Ты догадался? — спросил смущенный баснописец, оставив в покое свое пунцовое ухо.

Догадаться-то я догадался, да не совсем точно. Мне показалось, что речь шла про старого Зезюльку, который однажды огрел кочергой Брыдкиного кабанчика, когда тот забрел к нему во двор и похозяйничал там на грядках. Но я не возражал. Если Санька подразумевает под свиньей фашистов, то и я не против. Хорошая басня.

А назавтра у Саньки — две новых. В одной под рябой курицей подразумевалась Глекова Катя, а в другой под индюком — Петька Смык. Насчет Кати мне не понравилось. Причем тут Катя? А вот про Смыка придумано смешно. И главное — с моралью:

Не будь таким же индюком, Как Петька Смык, что всем знаком.  
Правильно, пусть так не форсит перед девчатами этот Смычище. Хорошо бы незаметно подкинуть ему в карман эту басню, но тут Санька заартачился: секрет — и никаких. Никто не должен знать, что он баснописец.

У Саньки талант не только на басни. Однажды Антонина Александровна пришла на урок такая сияющая, будто минуту назад ей вручили новогодний подарок. За несколько лет учебы мы научились с первого взгляда угадывать, что несет наша учительница в класс: двойки или что-либо получше. Иногда она входит усталая, разбитая, вяло кладет тетради на стол, снимает свои очки без дужек и принимается тереть пальцами переносицу в том месте, где от пружин синие ямочки. И тогда у каждого замирает сердце: неужели и у меня двойка за вчерашний диктант? А бывает, что она расцветет улыбкой еще с порога, вот так, как сейчас, мелко семенит, чуть-чуть припадая на одну ногу, к своему столу и торжественно обводит класс добрыми материнскими глазами. Значит, мы — молодцы. А на этот раз Антонина Александровна принесла такую новость, что наш класс на минуту растерялся, затаил дыхание, а потом возбужденно и радостно загудел.

— В нашем классе, дети, растет писатель...

Я сразу догадался: конечно, Санька!

— Вы послушайте, как он написал домашнее задание, — чуть не запела от восторга учительница и стала читать. И чем дальше она читала, тем больше мой Санька наливался краской. Имя будущего писателя еще не было названо, а по классу уже пошел шепоток:

— Макавей... Санька...

Девчонки стали оглядываться на нашу парту, а мой друг, опустив глаза, сосредоточенно рисовал на промокашке кавалерийского скакуна.

— Это наш Якуб Колас, — возвестила Антонина Александровна, когда кончила читать. Потом, немного подумав, поправилась: — Будущий. А пока он наш Колосок.

Не знаю, может быть, Санька слегка заважничал, может, была какая иная причина, но на перемене он вел себя необычно: солидно прошелся по классу, засунув руки в карманы своих солдатских галифе, задумчиво посмотрел в окно и молча сел на место. Сонька-Кучерявка попросила списать алгебру, так Колосок даже не повернул своей давно не стриженной головы. Девчонки начали хихикать:

— Гляньте-ка, Колосок уже нос задрал.

И Санька не выдержал: скатал из бумаги горошину, вложил ее в трубочку от ручки и — залепил Кучерявке в щеку. А потом и алгебру дал списать. И правильно. Чем тут особенно задаваться? Я бы и сам, если б захотел, написал бы то задание не хуже, чем Санька. У меня только этой самой охоты нет, а голова, говорит моя бабушка, есть и к тому же ёще крутомозгая. И грамматику мог бы выучить лучше всех, да неохота каждый день просить книжку у Кати. И так хлопцы начинают дразнить, что часто к ней хожу. Да если бы я захотел, мог бы по всем предметам, как по географии, учиться.

В географии я бог. Даже водные путешествия Дарьи Николаевны, на которых тонет весь класс, меня не страшат. Наша географичка что придумала. Только войдет в класс, еще и журнала не раскроет, как тут же:

— Петро Смык, проплыви мне из Мурманска в Одессу.

Смык, долговязый, тонкошей, выходит к карте и давай плавать туда-сюда, стреляет по классу глазами, подмигивает, ждет, чтоб подсказали, водит большущими, как у летучей мыши, ушами, прислушивается, пока географичка не скажет:

— Все. Твой корабль затонул. Садись.

Когда корабль тонет, это значит, что тонешь и ты, и никто тебя не спасет, пока все как следует не выучишь. Дарья Николаевна — женщина строгая, с нею шутки плохи. Мы все ее слегка побаиваемся.

А мне такие путешествия нравятся. Я не веду указкой по обшарпанной, тысячу раз подклеенной мучным клейстером карте; я всегда плыву на корабле под парусами, вижу холодные волны и каменистые берега, города, как на тех открытках из Европы, тигров, слонов, туземцев и еще много такого, что мне хотелось бы повидать на самом деле. А найти дорогу — невелика хитрость.

Но в последнее время на море мне тоже не везет: уже два раза заблудился.

— Что это с тобой? — удивляется географичка и выводит в классном журнале напротив моей фамилии двойку.

А я разве виноват? Мой корабль счастливо вышел из Мурманска, с попутным ветром без приключений доплыл до Англии, несмотря на густой туман удачно миновал пролив Ла-Манш, и тут у меня за спиной кто-то хихикнул. Это меня малость смутило. Может, не туда заехал? Оглядываюсь — Катя прищурила

один глаз и чего-то лукаво улыбается. Это, видно, не так себе. Не штаны ли мои причиной? Бабушка их нынче утром залатала белыми нитками, других не нашлось. Хотя нет, дело не в нитках — я их старательно закрасил чернилами.

Вот снова они с Санькой переглянулись и прыснули со смеху. Может, смеются над тем, что на переменке я причесал с водой свой вихор? Так ничего тут смешного нет. Если ты его хорошенько не намочишь, торчат волосы во все стороны, как иглы у ежика.

А может, я вообще такой смешной?

Пока я мучительно думал, чего это конопляное семя сперва разбирает смех, а потом бросает в краску, мой корабль каким-то образом вылез на берег и преспокойно подался по жарким пескам Сахары поперек Африки.

В другой раз из-за той же конопатой чертовки забрался я со своим крейсером прямо в Альпы. Вел-вел указкой по воде, миновал самое опасное место, где ни моря, ни земли, а лишь выглядывает из-под бумаги рыжая марля, а потом оглянулся — и на тебе: очутился в горах.

— Твой корабль разбился о скалы! — оповестила Дарья Николаевна и грозно пообещала: — Завтра снова спрошу.

Своего обещания она так и не выполнила: я не пошел в школу ни назавтра, ни послезавтра. Меня больше не интересуют и не волнуют морские путешествия нашей географички. И плакатов на директорских обоях не буду рисовать. Придется уж Кате и Саньке самим, без меня. Видно, такое уж мое счастье: вечером ложился спать — вроде бы ничего и не было, а утром встал — руки обсыпаны маком и чешутся хоть караул кричи. Глянула на них бабушка и заохала:

— А боже ж ты мой! Она! Посмотри, Кирилл, чем наш хлопец обзавелся.

— Не может быть, — не поверил сперва отец, но встревожился. — Откуда бы ей взяться?

— Откуда? — переспросила бабушка. — Ни мыла, ни хворобила. Долго ли ей? Понянула в ту, в царскую войну, знаю, какая она есть. — А потом ни с того ни с сего набросилась на меня: — Отцепись ты, горе луковое: кто она да что она. Короста — вот кто...

Только этого мне и не хватало. Нет, теперь я в школу не пойду ни за какие деньги, пусть хоть озолотят. Правда, такие же руки и у Смыка, и у Мамули, и у

многих других хлопцев. Особенно у мелкоты из младших классов. Но это их дело, это как им угодно. Им, может, и ничего, если узнает об этом Катя, а мне она и так житься не дает своими усмешечками. Я не хочу, чтоб она знала, что у меня на руках. Проживу как-нибудь и без учебы. Не всем учеными быть, как сказал Чижик. Пойду в колхоз вместе с отцом или к той же Нинке в бригаду. Живут же другие хлопцы без учебы. Чижик, к примеру. И я жив буду.

Отец прямо весь почернел. На лбу у него сверху вниз пролегла глубокая складка, густые косматые брови сошлись на переносице, грозно зашевелились усы. Вообще после войны он посуровел, стал молчалив, скуп на теплое слово. Похлопает по плечу или проведет тяжелой рукой по голове против волос и молчит. Это у него высшая мера нежности. Это еще нужно заслужить. А сейчас он и вовсе туча тучей.

— Нет, — глухо сказал отец. — Ты на других не кивай. Другим, может, хлеба некому заработать или мозги вправить, а я могу еще и то и другое. Смотри, хлопец.

Да ведь и я не боязливого десятка. Все говорят, что пошел в отца и внешне, и по упрямству. Пусть что хочет делает, хоть за ремень берется, а Кате на глаза со своими руками я не покажусь.

Вечером по дороге из школы к нам заглянул Санька.

— Чего тебя сегодня не было? — поинтересовался он. И не успел я рта открыть, как за меня ответил отец:

— Жениться надумал. Шли, говорит, сватов, и баста. А ты еще разве школу не бросил?

— Не-е, — растерянно протянул Санька.

А бабушка уже тут как тут:

— Так это же хлопец, а то черт болотный. Отца и того уже не признает. — И мечтательно вздохнула: — Эх, если б серы найти. Всю бы коросту как рукой сняло. Да где ты ее сейчас найдешь? Разве что в пекле.

Целый вечер длились мои с отцом переговоры. Говорил больше отец, а я стоял неподвижный и немой как столб. Он просил, угрожал, доказывал, что науку на горбу не носить, что болезнь — это болезнь, и стыдиться тут нечего, тут не я виноват, а война. Время от времени он спрашивал:

— Ну как?

Я молчу. И наутро молчу. И на другой вечер. Он все верно говорит: и про науку, и про болезнь, и про войну, — а понимает не все. Нельзя мне идти в школу. Там Катя и другие девчонки смеяться будут. Мог бы и догадаться, что не так это просто.

Догадался отец или нет, но уступил. Вечером, считая, что я уже сплю, они долго разговаривали с бабушкой о моей персоне.

— Проворонил я хлопца, — словно бы жаловался отец. — Вырос он тут без меня. Трудно теперь в руки взять. Ой, трудно. Велик уже.

Все! Крышка моей учебе. Отец злится, а Нинка, когда я пришел на бригадный двор, обрадовалась. Все в тех же огромных солдатских сапогах, в том же ватнике, перехваченном ремнем, с обветренным лицом, она по-мужски, как с равным, поздоровалась со мной и сказала:

— Вот и хорошо. Запрягай своего Буянчика.

Три дня я возил с конюшни навоз к парникам и вместе с дедом Николаем набивал им рамы. Школа мало-помалу стала вроде бы и забываться. Только когда проходишь мимо с вилами в руках, в груди что-то запоет и станет почему-то обидно и горько. Охота подкрасться к крыльцу и хоть одним глазком заглянуть в окно. Что они там делают без меня: снова плавают из Мурманска в Одессу или ломают головы над алгеброй? И пусть ломают, пусть смеется теперь Катя, сколько ее душе угодно. Мне эти смешочки ни шли ни ехали. Я теперь самостоятельный человек, я перешел на собственный хлеб и, если захочу, так и курить начну. Только отца побаиваюсь.

Обидно немного, что все они так быстро забыли обо мне. Будто я и не ходил в школу, будто я там никому не нужен. Один Санька не забыл. Вчера он принес полные пригоршни желтой серы.

— Где ты взял? — обрадовалась бабушка.

— А у меня целая аптека, — похвастался он. — Нужно, так и еще принесу.

— Приноси, — поймала его на слове бабушка. Такой у нее характер — любит, чтобы все было с запасом. Теперь она Санькиной серой пудрит мне руки и говорит, что все идет как нельзя лучше.

В тот день я задержался возле школы дольше, чем обычно. Нужно было дожидаться Саньку. Но если бы я знал, что со мною приключится, — обошел бы школу за десять верст, а не торчал на крыльце и не заглядывал в окна, как мелкий воришка.

— Здравствуй, Ваня, — неожиданно послышалось за спиной, я почувствовал себя так неловко, словно был пойман под окнами чужой хаты.

Обернулся — передо мною стоит Антонина Александровна, маленькая, седенькая, и снизу вверх с любопытством всматривается мне в лицо. В руках у нее охапка тетрадей и классный журнал. Должно быть, она и сама не ждала такой встречи и теперь не знает, что дальше говорить.

— Это правда? — наконец спросила она.

— Что правда? — Уши у меня запылали.

— Что бросил школу.

— У-гу.

— Да-а, — вздохнула учительница и на секунду задумалась. Потом спохватилась и щебечущей скороговоркой попросила: — На, помоги мне отнести домой тетради.

Вот так попался! И отказаться нельзя, и идти неохота. Снова начнутся разговоры-уговоры, а с меня и отцовских хватает. Не пойду я к ней в дом, пусть не рассчитывает. Донесу до порога и отдам.

До учительского дома недалеко — это на пригорке, в бывших поповских хоромах, довольно уже ветхих, как и волость. Летом их немного подремонтировали, но мы знаем, что там и печи дымят, и в окна дует. В коридоре, куда я вошел вслед за Антониной Александровной, темно и сыро. Вот тут и отдам тетради.

— Держи! — опередила она, и у меня в руках очутилась вторая стопка тетрадей с классным журналом в придачу, а в темноте скрежетнул в скважине ключ.

Побег мне не удался. Чтобы избавиться от ноши, я вынужден был зайти в комнату и положить журнал и тетради на стол. Антонина Александровна тут же попросила нащепать лучины на подтопку, и снова нельзя было отказаться. Пришлось сиять шапку и свитку.



— А теперь будем пить чай, — объявила она таким тоном, будто это разумелось само собой с самого начала. — Ты любишь чай с сахарином?

Чай с сахарином! Кто же его не любит? И я, конечно, люблю, но пить не хочу и не буду.

— Нет-нет, — преградила мне дорогу Антонина Александровна. — Это никуда не годиться. Ты мой гость, а гости не обижают хозяев. Слышать ничего не хочу.

Вот попался так попался — ни туда ни сюда. И нужно мне было подходить к этой школе. Теперь сиди здесь как аршин проглотивши, притворяйся воспитанным человеком. Да я толком и пить тот чай не умею. Под сахар, принесенный отцом с войны, бабушка один раз кипятку нагрела, так пока я пил, все время удерживала:

— Не хлебай так, кружку проглотишь.

А Антонина Александровна суетится в своей тесной, заставленной этажерками и книжными полочками комнатухе, будто к ней в самом доле пришел невесть кто. На столе появились тонкие стаканы, ложечки и немного погнутый чайник с кипятком. Хлеба нарезала тоненькими ломтиками.

— О! — торжественно подняла она указательный палец. — У меня есть варенье! Вишневое! Прошлым летом сестра переслала. Где же это я его поставила? Будем пить чай с вареньем!

Мне почему-то было стыдно, я долго отнекивался, упирался, но потом все же сделал ей одолжение: сел за стол. Очень уж велико было искушение. Если кому-нибудь рассказать, так и не поверят, что я пил чай с вареньем. Только неспроста она этот чай заварила. Сейчас, видно, начнется: как мне не стыдно, как мне не ай-яй-яй бросать школу. Тут нужно ухо остро держать: уговорит и не заметишь.

А учительница вроде бы и забыла про школу. О сестре своей рассказала, пожаловалась, что крыша над ее комнатой протекла и книги залило, что голова у нее часто болит и вообще здоровье никуда не годное. Да оно и так видно, без слов. Лицо у нее какое-то изжелта-прозрачное, а на висках надулись синие жилки. И пенсне, наверное, ей неудобно носить. Худыми, ссохшимися пальцами она все трет переносицу, а надавленные пружинками ямочки никак не исчезают.

Разговор незаметно перешел на моего отца: когда пришел, где воевал, не очень ли строг к нам с Глыжкой, не думает ли привести мачеху.

И я как-то осмелел, забыл, что в гостях, развязал язык, как с равной.

И про бабушку поговорили.

Маму вспомнили.

— Я учила ее когда-то, твою мать. Еще до революции, — сказала Антонина Александровна. — Лучшая была ученица в классе. Только мало походила, зимы две или три. А потом не пустили ее. Отец и мать не пустили. Сколько я их не уговаривала.

И вдруг, бросив на меня внимательный взгляд глубоких, добрых глаз, учительница тихо спросила:

— Трудно?

Я сразу понял, о чем она — о жизни.

— Трудно, — признался я.

— Очень трудно, — вздохнула Антонина Александровна. — Сегодня в третьем классе один мальчик у доски упал в обморок. Недоедание проклятое. Малокровие... А взять ваш класс. Василь почти босой — ботинки совсем разлезлись. Помнишь, как он пальцы отморозил? Вот упорный парень, на редкость. Другой бы давно рукой махнул, а он ходит... В мороз, в непогодь.

Это она так Мамулю нахваливает.

Потом учительница немного помолчала, подложила в мой стакан варенья, как я ни пытался доказать, что больше не хочу, и заговорила снова:

— Не каждый это выдержит. Многие, конечно, бросят школу. Кто послабее духом...

В комнате стало жарко, хоть дверь отворяй. Видно, это от печки. А может, и не от печки. «Кто послабее духом...» Выходит, и я «послабее». Что она понимает? Подумаешь, геройство — в рваных ботинках ходить по морозу. Пусть бы на мое место встал да той пересмешнице на глаза показался... Да разве об этом учительнице скажешь?

— А вот чтоб Ваня Сырцов оставил школу, — развела руками Антонина Александровна, — не верю! Здесь что-то не так.

Меня так и бросило в пот.

— Я слышала, что ты просто заболел. — И, заметив, как мои руки вмиг исчезли под столом, она вздохнула: — Это ничего. Это пройдет. Это во всех классах. И, между прочим, у Кати тоже...

Да что она, мысли мои читает? Об этом же не знает ни один человек на свете. Даже Санька. Не может быть, чтоб она догадалась. Если догадалась, тогда я пропал, тогда конец света... А Антонина Александровна глядит на меня так по-заговорщицки: мол, одни мы с тобой об этом знаем. Знаем и никому не расскажем.

В душе я обрадовался. У Кати — тоже! Все в порядке. Теперь мне нечего бояться. Теперь пусть она попробует...

— Вот еще что, — напомнила Антонина Александровна, — там расписание уроков изменилось. Завтра первый урок — белорусская литература. Мы уже до Коласа дошли, — И погрозила мне пальцем: — Все, что пропустил, — спрошу!

Не знаю, что со мною произошло, но домой я мчался сам не свой, радостно перепрыгивал через весенние лужи, провел палкой по частоколу — тра-та-та-та, разбойничьим посвистом спугнул воробьев и заскочил к Саньке во двор. У Кати — тоже! Это здорово, это просто чудесно!

— У тебя нет больше того лекарства? — спросил я у друга. — Где твоя аптека?

Санька оглянулся на мать — по слышала ли? — и повел меня под навес.

— Следи, как бы не вышла, — велел он и достал из-под мусора артиллерийский снаряд. Головка снаряда была отвинчена. — Ковыряй сам, — сказал Санька. — Мне уже осточертело. Каждый день то тому, то другому... Там еще есть на дне.

— Тол? — удивился я.

— Тол, — подтвердил Санька. — Один черт, что и сера.

Не знаю, что мне больше помогло: варенье учительницы, Санькина аптека или то, что и Катя не святая, — но я возвратился в школу. Отец был рад-одумался хлопец...

«Брызги шампанского»

Бабушка говорит, что каждый дурень обновке рад. Но будучи поменьше, мы не очень-то заботились о том, что на нас надето. Что есть, то и ладно. А с шестого класса стали следить за модой и сами модничать. Кажется, чего проще — шапка, а носить ее нужно умеючи. Иной натянет на глаза, аж дороги не видит, и рад. Никакой тебе красоты, никакого шика. На настоящем хлопце, на таком, как я или Санька, шапка должна сидеть чертом. На самом затылке, чтоб весь чуб на виду. А можно еще набекрень надеть, на одно ухо, тоже здорово получается.

Или взять штаны. Неважно, что на них заплаты и сзади и спереди, важно — как ты их носишь. Другой вопхнет штанины в бурки и ходит, как тот телепень. У настоящего же молодца, такого, как я или Санька, штаны всегда будут с напуском. Чуть-чуть по-цыгански они свисают над бурками, и тогда эти самые бурки меньше бросаются в глаза, и кажется, что это вовсе не бурки, а самые доподлинные сапоги.

Но и мне, и Саньке все-таки далеко до Ахремова Леньки из Лаптина, который приходит на гулянки в Подлюбичи. Говорят, его отец привез из Германии чуть не полный солдатский мешок иголок и продает их на базаре. Теперь Ленька ходит, как ассессор: в хромовых сапогах и даже с наручными часами. Отсюда, видно, и пошла поговорка: одет с иголочки.

Задается Ленька — страшное дело. Правда или нет, а про него такое рассказывают. Идет это Ленька к подлюбичским девчатам, а на дороге свинья лежит. Вот он остановился и говорит:

— Марш с дороги, а то как дам новым сапогом под дыхало, так через пять минут околеешь.

При этом будто бы Ленька показал свинье свой сапог и посмотрел на часы.

Может, это и выдумали из зависти, но сам я другое видел. Ленька — хлопец постарше нас, всюю уже сигарки смалит. Вот Чижик и попроси у него как-то закурить. А тот ощупал карманы и отвечает:

— Нема. В тех штанах папиросы забыл.

Одним словом, штанов у него, хоть отбавляй.

А как залихватски носит Ленька свои сапоги! Наваксует так, что они солнечных зайчиков пускают, соберет голенища в гармошку, опустит по самые щиколотки и идет как пишет: скрип-скрип, скрип-скрип. Правда, сапоги гармошкой он носит не каждый день. Видно, надоедает. Тогда он выворачивает голенища чуть не наполовину, чтоб все видели, какой там белый кожаный поднаряд.

Глядя на Леньку, и мы стали выделявать со своими бурками всякие фокусы. Началось со Смыка. На уроках он не слушал учителей, лишь делал умные глаза — он, мол, слушает, — а сам все время под нартой «приучал» руками свои бурки быть гармонистыми. Получилось любо-дорого. Петька форсил на всю улицу. Даже походка у него изменилась, стала какой-то разболтанной, как у того франта из Лаптина.

Да Петьке-то хорошо, у него бурки тонкие, из черного сатина, ваты положено скупно, потому и морщатся легко. А вот Санька свои, из шинельного сукна, целую неделю «гармонил». С горем пополам добился своего. И теперь совсем другое дело. Теперь Санька ниже пояса похож на военного: зеленые галифе на вырост и бурки гармошкой. Хоть ты шпоры на бахилы цепляй.

А у меня дело дрянь. Очень широкие голенища. Санька и Смык свои как прижмут, так они на икрах и держатся. А я что ни делаю, все впустую: пройдешь немного — и нет гармошки. Тогда я, как Ленька, сделал отвороты. Поднаряды, правда, у меня не кожаные, по тоже белые, из старой льняной постилки. Издали поглядеть, вид довольно хватский, хоть на вечеринку иди.

Так мы однажды вечером и сделали. Привели в порядок бурки, Санька сдвинул шапку на затылок, я свою — на левое ухо, и айда. Вечер был лунный, с морозцем. В хатах и землянках топили на ночь печки, в неподвижном воздухе белые дымы стояли огромными столбами. Снег под ногами скрипит на всю деревню.

До войны танцы были в церкви — там комсомольцы устроили клуб. Теперь в церкви ни окон, ни дверей, и девчата обычно собираются в чьей-нибудь хате. Договариваются на всю зиму за пуд картошки с каждой. Одним эти пуды родители дают, а другие берут тайком, когда дома нет взрослых. Потанцевать охота, что ты поделаешь? Есть такие, что голодной останется, только дай ей польку оторвать.

А хлопцам — малина. С них хозяйева платы не спрашивают. Мы можем повернуться и на другую вечеринку пойти. Их на селе не одна — почти на

каждой улице. А ближайшая у старой Язепихи. Туда мы с Санькой и шагаем. Точнее говоря, крадемся, как ночные воры. Не так это просто первый раз на гулянку идти. Мало ли кто увидеть может? Можно учительницу встретить или даже директора. И кто-нибудь из девчонок увидит — на всю школу раззвонит. Сгоришь со стыда. А еще комсомольцы — скажут.

Соседке на глаза попадешься, тоже бабушке в уши вложит. А та не преминет поддеть:

— Что, — скажет, — холостяцкая жизнь надоела?

И еще неизвестно, как на это отец посмотрит.

Словом, много может человек нажать неприятностей, когда он в первый раз идет на вечеринку.

И Санька, пока мы крались вдоль заборов, такую брехульку придумал. Разве мы танцевать идем? Мы идем проверить, нет ли там кого-либо из нашего класса. Нужна нам эта гулянка, как зайцу стоп-сигнал.

У Саньки голова, как сельсовет, всегда что-нибудь придумает. Конечно, проверим и домой. Запасшись такой хитростью, мы довольно смело переступили порог и окинули хату строгими глазами проверяльщиков. Нас тотчас заметили, будто давно дожидались.

— Хлопцы! Холостежь пришла! — крикнул лаптинский Ленька и громко захохотал. Его поддержала какая-то тараторка, кажется, Манька Узварова:

А что это за такая Боевая холостежь: Слово скажешь, но так глянешь — То за шаблю, то за нож! — пропела она визгливым голосом, и всем стало еще веселее. А мы стоим, как дурни.

В табачном дыму закопченная лампа, словно месяц в облаках: то потемнеет, то прояснится. Вдоль стен на скамьях и даже на кровати и на лежанке сидят девчата и парни. Все не нашей компании, много старше. Парни дымят сигарками, передают друг другу «сорок», а девчата грызут семечки.

Бусликов Костик, который всего на два года старше нас с Санькой, сидит на самом видном месте. Склонившись головой к самой гармонии, он лениво перебирает пальцами пуговики ладов и пиликает что-то безладное. Это уж такой обычай у гармонистов: прежде чем сыграть то, что просят, попиликать

вот так себе на ухо, как будто они что-то там слышат особенное, чего другим никогда не услышать. Как говорится, для фасона.

Костик, свесив свой светлый волнистый чуб на меха, фасонил долго. Его уже несколько раз девчата просили сыграть, а он будто и не слышит. И лишь когда перестали просить, неожиданно заиграл сам. Так ему захотелось: он гармонист.

Ну и пошло же веселье, хата заходила ходуном, и сквозь щели в потолке стала сеяться льняная костра. В круг вышла та самая Манька Узварова и, видно, чтобы задобрить Костика, запела, притопывая под музыку:

Я любила гармониста, Гармониста тешила...

И тут все девчата одна другой громче подхватили на разные голоса:

Сама гармошку на плечо Гармонисту вешала. И-их!

Рядом с Костиком незнакомый мне, должно быть, не из нашего села парень залихватски бьет в бубен. От него глаз не оторвать, такие он выделяет фокусы: то ударит ладонью, то косточками сложенных в кулак пальцев, то бубном о локоть, то о колено. При этом голова его то задирается вверх, то клонится набок, словно и к бубну нужно прислушиваться, как к гармонисту. И весь его вид доказывает; еще и не так могу. Словом, два сапога — пара: что гармонист, что барабанщик.

А между парнями и девчатами началось что-то вроде перестрелки: кто кого в припевках хлеще подденет. На Манькину любовь к гармонисту ответил из круга разудалый басок:

Гармониста полюбить Милка собирается, Мажет губы, пудрит щеки, Да не умывается.

Под музыку парни ведут девчат вперед, потом медленно отступают назад, и вдруг все вместе ка-ак топнут бурками в резиновых бахилах по полу — аж прогибаются лаги и качается лампа, а потом подхватят девчат и давай вихрем кружиться в одну сторону; гикнут, аж печь подскочит, — и в другую. На печи дремлет старая Язепиха и каждый раз, когда парни бьют ногами по скрипучим половицам, показывая свою силу и удаль, испуганно вскидывает голову и бормочет себе под нос:

— Развалят хату, анчихристы.

Девчата покраснелись. Манька, шустрая, подвижная, так вьется перед своим «миленком», что юбка надувается парашютом.

Мой миленок, как теленок, Только разница одна: За теленка дадут гроши, А миленку грош цена.

По сравнению с девчатами парней маловато: с войны не вернулись. Но хоть их и мало, а поддаваться не хотят. Тот самый задиристый басок не остался в долгу:

Тыру-тыру, Хлопцам сыру, Хлопцам сыру с молоком; Табу-табу, Девкам жабу, Девкам жабу с червяком.

Костик свел меха. Перед ним тотчас раскрылось несколько самодельных алюминиевых портсигаров с табаком и папиросами. Поглядел он, где потолок, и взял. «Гвоздиков» Костик не курит.

Посидели мы еще малость, да и домой пора. На первый раз хватит. Только я за щеколду взялся, а вдогонку нам новая припевка:

У нас хлопцы гуляли, У порога стояли. Просим завтра к нам гулять, У порога постоять.

Все грохнули хохотом, а мы насупились и вышли. Нам было обидно. Пусть без нас гуляют, раз они такие. Просить будут — не пойдем. Не видали мы их танцев! Счастье великое — ногами дрыгать да глотку драть припевками.

И правда, в ту зиму к Язепихе мы больше не ходили. Бурки в гармошку собирали, напускали брюки на голенища, шапки носили так, чтобы только-только на голове держались, а на гулянки — ни ногой.

И вот наступило лето. Вечеринки перебрались из хат на улицу. Теперь возле каждого двора клуб, лишь бы ровное место для танцев и лавочка для гармониста. И, конечно, самое лучшее место — это деревянный мост на шоссе. Такую сербиянку можно оторвать на дощатом настиле — на все село будет слышно. Только грузовики иной раз мешают: приходится уступать им дорогу.

Но мост — это не для нас с Санькой. Тут и занозу в ногу загнать недолго, и публика слишком благородная — все обуты. Как пить дать без пальцев останешься, если наступит какая-нибудь плясунья.

Возле той же Язепихи — народ попроще. Тут и босую можно выбрать, и танцуют на голой земле, утрамбованной ногами, как ток в гумне. Пыльно на этих танцах, как на молотье. Недаром избранная публика с моста смеется над теми, кто танцует возле Язепихи:

— Отряхни пыль с ушей!



Но и там, возле Язепихи, не каждой скажешь: «Идем потанцуем». Сперва на ноги надо поглядеть — не в туфлях ли, а то получишь от ворот поворот. Обутые — с гонором, не каждая пойдет.

А мы не очень-то по этому поводу горюем. У нас свои вечеринки — у Скока на завалинке. Выйдет из хаты Лешка с балалайкой и бренчит потихоньку. Одноклассницы наши соберутся: Катя, Сонька, Ганка и почти все остальные. И все мы тут равны, все босиком — смело бери любую. Только танцоры мы с Санькой пока еще никудашные, топаем, как козлы. Потому никого и не приглашаем, друг с дружкой танцуем да девочек толкаем вроде бы невзначай. И больше всего Катю с Сонькой.

Лешка — музыкант что надо. И фасон держит не хуже Костика: перед каждым танцем сперва побренчит для себя, подтянет струны и уже потом заиграет. А умеет все: и польку, и сербиянку, и страдание. Больше того — недавно где-то с патефонной пластинки перенял танго. «Брызги шампанского» называется.

Сначала эти «брызги» никто не умел танцевать, но потом девчата как-то своим умом дошли — и айда топтать траву! Шутка ли, танго. Такого модного танца, пожалуй, даже мост не знает, не говоря уже про Язепиху.

Одним словом, наши с Санькой танцевальные дела идут как нельзя лучше. Мы тут главные заводилы, остряки и пересмешники. Нет нам соперников. Старшие хлопцы на наших девчат и смотреть не желают. Иной подойдет, приглядится и только рукой махнет:

— А-а, подлетиши...

Так воробьев называют, когда те начинают учиться летать. А на наш взгляд, девчата хоть куда. Мы даже подумываем, не пригласить ли кого-нибудь из них на танец. Я бы с Катей пошел, да боюсь, отошьет. И вообще не просто это — вот так взять и пойти... На что Санька хлопец смелый, а тут тоже пасует, не отважится на такое первым. Скажут потом — кавалер. Если бы так как-нибудь, незаметно, во время танца «разбить пару», что ли. Сидим мы в сторонке, шепчемся, и вдруг!

— Салют, хлопцы? Что у вас тут, танцы?

Подняли мы глаза и онемели: офицер — не офицер, генерал — не генерал, а кто такой, не узнаем. А он нас, видно, как облупленных знает.

— Ну, как, Иван, дела? Что, Санька, слышно?

Пригляделись — Юрка Колдоба, нашего участкового сын. Уже и забыли, когда его видели. Говорят, он вместе с отцом какое-то время в армии был. Дома у Юрки после смерти матери никого не осталось, вот и забрал его отец к себе в часть. Сперва был он там сыном полка, а когда отец демобилизовался, Юрку отдали в военное училище, в какое-то подготовительное. И вот стоит он перед нами и красуется. Куда там Ленке лаптинскому до него! Синие суконные брюки с красными кантами, зеленый френч с блестящими пуговицами, погоны с позолотой, как на иконах, а на голове такая фуражка, что нам и не снилось. Маленький, всего в палец шириной, покрытый черным лаком козырек и, как решето, туго натянутый верх. И поглядели бы вы, как все это сидит на голове! Чудом держится где-то там, на затылке. О ботинках и говорить нечего: хромовые.

Неожиданное появление Юрки на нашей гулянке произвело впечатление не только на нас с Санькой. В предчувствии чего-то необыкновенного притаились и завалинка, и лавочка, стих веселый гомон. А он прошелся вдоль завалинки, форсисто пристукивая каблуками и время от времени мотая головой, словно лошадь, когда та отгоняет оводов, поздоровался с каждым за руку и сразу же втерся между девушками. Смыка столкнули с лавочки, и он, подойдя, удивил нас с Санькой еще одной подробностью Юркиного шика:

— Одеколоном несет за версту.

Мы с Санькой совсем пали духом. Мы поняли, какая опасность нависла над нами. Теперь нечего и думать остаться заводилами: девушки смотрят только на Юрку. Мы теперь ничто. У нас нет погон, и от нас не пахнет одеколоном.

А Юрка, почуяв, что он здесь главный, сразу начал выкомаривать. Первым делом он смутил нашего музыканта.

— Прошу падеспань!

— Чего? — не понял Лешка и беспомощно озирнулся по сторонам.

Юрка, подпевая самому себе, протанцевал несколько тактов.

Падеспанец хорошенький танец, Тарам-ра-ра, ра-ра-ра, трам-та-та-там!

— Не знаю, — признался Лешка.

— Ну тогда падекатр...

Лешка и этого не стал играть, только глянул исподлобья на слишком модного заказчика и взялся подкручивать струны.

— Так что же вы тут танцуете? — с улыбкой спросил Юрка. — Может, сербиянку?

— Что надо, то и танцуем, — с вызовом ответил наш музыкант и врезал «Брызги шампанского». Знай наших. Не такая уж мы «деревенщина», как кое-кому кажется. Подумаешь, наодеколонился, так от сербиянки нос воротит.

Но это было только начало. Дальше произошло такое, что мы с Санькой прямо почернели от зависти. Вот это кавалер, не то что мы, тюфяки несчастные: ни шагу ступить, ни слова сказать по-человечески не умеем.

Юрка смело прошелся вдоль завалинки, переборчиво оглядел всех наших «подлетьшей» и остановился напротив Кучерявки. Та смущенно спрятала босые ноги и опустила голову.

— Прошу, мадемуазель! — с поклоном сказал Юрка.

«Мадемуазель» заупрямилась, тогда Юрка взял ее за руку и вытащил в круг силой. Санька помрачнел. Он отошел под вербу и, прислонившись к ней спиной, бросил косой взгляд на танцоров.

Нет, еще никто на лугу возле Скока не танцевал такого танго! Еще никто не выбрасывал таких коленцев, так не извивался, как этот Юрка. Он то бегал на цыпочках, будто собирался подняться в воздух и улететь, то, сгибая в коленях ноги, подкрадывался, как кошка к воробью, то так быстро и неожиданно оборачивался назад, словно боялся, что ему сейчас кто-то даст по загривку. Мы рты разинули. Вот это танго! А мы обычно топчемся, как глину месим.

Конец танца был неожиданным. «Кавалер» наступил на босую ногу «мадемуазели», та ойкнула и убежала на свое место, на завалинку. Санька мстительно усмехнулся: не надо было идти танцевать «Брызги шампанского» с этим франтом. Может, он и сам ее когда-нибудь пригласил бы. Но спустя минуту Санька насупился снова. И я хорошо его понимаю. Приходят тут всякие и мутят воду. «Падеспань» ему подавай. Падеспанщик нашелся.

Но Юрке ни жарко ни холодно от наших хмурых взглядов. Едва Лешка сыграл отходной марш, он у всех на глазах взял Соньку под руку и повел провожать, хотя та и пыталась вырваться. И еще своим решетом с блестящим козырьком нам помахал:

— Салют, хлопцы!

На Саньку напал столбняк. Я тоже моргаю глазами: что ж это творится на белом свете? За здорово живешь взял под крендель и увел. И хватает же смелости.

— Ну ладно, — пришел наконец в себя мой приятель и грозно сверкнул глазами. — Я ему покажу!

Конечно, надо ему показать. Пусть не думает, что он будет оттаптывать ноги нашим девчатам, насильно их провожать и это ему так сойдет. Пусть не думает, что за них заступиться некому. А мы с Санькой на что?

Мы сидим на лавочке возле Скокова двора и поджидаем, когда тот падеспанщик будет возвращаться домой. Тогда Санька выйдет навстречу и так даст ему в под дых, что он землю понюхает. Из его шикарной фуражечки Санька сделает блин. Правда, мне лезть в предстоящий беспощадный бой запрещено. У нас не заведено, чтобы двое на одного. Я просто буду стоять, чтобы нагнать страху на противника.

— А может, замаскироваться? — предложил Санька. — А то заметит и удерет...

Место для засады выбрали под забором, за кустами крапивы. Уже выпала роса, но мой приятель отважно нырнул за мокрый стрекучий куст и притаился. Я тоже готов был шмыгнуть вслед, уже даже стал на четвереньки, когда за спиной кто-то спросил:

— Что ты здесь ищешь?

Обернулся — он. Стоит и улыбается. Даже в темноте видно, что у него очень белые зубы. Грозного Саньки, выросшего, как привидение, из кустов крапивы, наш лютый враг и не подумал испугаться.

— Салют! — удивленно произнес он и щелкнул крышкой портсигара. — Закурим?

Все это произошло так неожиданно, что мы словно языки проглотили: стоим и молчим. Тут в самый раз ему показать, где раки зимуют, а Санька почему-то медлит.

— Дикие у вас девчонки, — со вздохом пожаловался между тем Юрка. — Никакой тебе культуры. Хотел под ручку пройтись, так удрала.

Санька едва приметно улыбнулся, его каменное до этого лицо подобрело. Он вылез из крапивы и стал отряхивать штаны. Видно, бой не состоится. Не за

что драться, если так. А молодчина все-таки наша Кучерявка. Он думал, погоны нацепил, так все перед ним будут падать ниц.

Словно не замечая нашей суровости, Юрка как-то по-приятельски спросил:

— Ну, как вы тут, хлопцы, живете?

— А так, — не слишком учтиво буркнул Санька.

А я добавил:

— Живем, хлеб жуем...

Слово за слово и разговорились.

— Давайте, хлопцы, после школы к нам, а? — предложил наш недавний враг. — К нам в училище на офицеров учиться.

— А примут? — не поверил Санька.

Конечно, примут. Юрка в этом уверен на все сто. Кого же тогда принимать, если не таких боевых хлопцев? К тому же он обещает нам помочь, показать все ходы и выходы. Особенно Юрка советует налегать на математику. У них, в артиллерии, это самое главное. Не умея считать, угодишь, чего доброго, по своим.

У Юрки на погоне, рядом с блестящей пуговицей, золотистая артиллерийская эмблема, и мы с Санькой время от времени украдкой на нее поглядываем.

— Неужели вы из пушек стреляете? — все еще не верит Санька.

— Из гаубиц, — не обиделся Юрка и тут же поделился своими познаниями: — Гаубица — это такое орудие, которое короче пушки.

Нет, славный хлопец этот Юрка. И такая у него жизнь интересная: гаубицы, пушки... И сам уже почти офицер. Только подготовительное училище окончит, а там три года — и лейтенант. И добрый хлопец. «Приходите, — говорит, — я вам ходы и выходы покажу». Да мы за Юрку уже готовы в огонь и в воду. Правда, он малость задается, так что вы хотите: каждый бы задавался, имея такой мундир. Это вам не Санькины галифе.

Словом, хорошо мы с ним поговорили, и, лишь прощаясь, он нас словно бы попрекнул:

— Вы думаете, меня одолели бы? Нет, хлопцы, я армейский паек ем и боксом занимаюсь. Бывайте! Завтра на танцах встретимся.

И ушел, посвистывая, шикарный, наодеколоненный. Мы с Санькой только вздохнули.

Скорей бы уже и нам в то училище. Не ради армейского пайка, конечно. Нас и без пайков черт не возьмет. Мы и так хлопцы ничего себе, хотя Санька слегка широконос и рыжеват, а у меня шея длиннее, чем надо бы. Но если бы нам еще Юркины погоны, к нашим девчатам никто не подступился бы.

Идем мы с Санькой домой и мечтаем, как оно сложится у нас, в артиллерии...

Что такое земная юдоль

Жито уродило редкое — глушили сорняки. А ячмень тот и вовсе едва от земли поднялся, как выбросил колоски. Ударила сушь — он так и осел. Теперь ни жаткой его не взять, ни серпом. Единственный энтээсовский комбайн, который впервые после войны прислали к нам в деревню, и жать не жнет, и чтобы совсем развалиться, так не разваливается. Из-под него целыми днями не вылезает насквозь промазученный и злой, как черт, комбайнер. Он бранится так, что ни на начальство не смотрит, ни на господ бога.

Наша бригадирша, боевая и довольно языкастая Нинка, для него нуль без палочки. Прибежит она со своей бригадирской козой замерять, сколько сжато, а мерять-то и нечего: с самого утра из-под комбайна торчат ноги комбайнера. Тут-то и начинается.

— Снова стоял со своей самопрялкой? — злится Нинка. — Если б не бабы с серпами...

Тогда из-под комбайна показывается взлохмаченная голова, глаза комбайнера превращаются в узкие злые щелочки, а в голосе и приказ, и вопрос одновременно!

— Иди ты... знаешь куда? Лучше бы окопы на поле заровняли...

Бригадирша тоже за словом в карман не лезет.

— Может, тебе еще тротуар замостить и подмести веником?

Иной раз комбайнер показывает не только голову, а вылезает и сам.

Тогда у них такие разговоры.

— Что это такое, я спрашиваю? — тычет он Нинке под нос какую-то железяку. — Ну, что?

— Ну... крылышки от бомбы, — отвечает бригадирша.

— Кры-ы-лышки, — передразнивает комбайнер. — У меня от этих твоих крылышек ножи полетели. Убрать у вас руки отсохли. Вот развернись и уеду...

Да что ему Нинка? Он однажды даже у председателя колхоза, товарища Мороза, при нас спросил, знает ли тот, куда ему идти.

Кого-нибудь другого Мороз съел бы заживо, а комбайнеру сошло с рук.

Про нас с Санькой и говорить не приходится. Тут не разберешь, то ли мы возчики зерна, то ли слуги для комбайнера.

То ключ ему подай, то молоток поищи, то сбегай за версту к мужчинам, которые косят тот несчастный ячмень, и попроси у них табаку на сигарку, то воды принеси напиться. А если теплая, так еще и поглядит на тебя, как бог на червяка. Будто это мы отвинчиваем в его комбайне гайки, теряем болты, рвем цепи и подкидываем под ножи крылышки от бомб. И мы все терпим. Терпим потому, что когда эта громадина все-таки оживет и потащится вслед за трактором, то можно взобраться наверх и, как на капитанском мостике, проехать по полю, гордо поглядывая, как где-то там внизу наши девчата гнут спины с серпами. А вечером можно с таким безразличным видом при случае сказать:

— У нас на комбайне полный порядок.

Можно словечко подкинуть мудреное: шнек, агрегат, контакт. Мы их знаем уйму.

Одно только плохо — не каждый вечер нам удастся побывать на гулянке. Частенько нас посылают ночью оттаскивать солому от молотилки. И неохота, да Нинка уговорит. Так уж мягко стелет: хлопчики, хлопчики, хлопчики. Мы и любенькие, мы и дороженькие, и на нас вся бригада держится. Если уж такие ударники и стахановцы, как мы, не пойдут, так неизвестно, что и будет. Чуть ли не свет вверх ногами перевернется. Вздохнешь и пообещаешь прийти. А вечером, когда зайдет солнце, когда совсем стемнеет и по пути на вечеринку запоют девчата, тебе просто свет не мил.

Занавеска редка-редка, Чернобрового видать. Кабы с этим чернобровым Один вечер погулять! —

звенят девичьи голоса на всю улицу. А тут еще бабушка словечко забросит:

— Иди уже, зовет...

Я завожусь, как говорит наш комбайнер, с пол-оборота. Гляну, не слышал ли бабушкиной издевки отец, и в атаку:

— Иди, иди... У тебя одни гулянки на уме, а солому кто будет таскать — черт лысый?

Но бабушку так легко не остановишь. Она, прибирая посуду после ужина, будет ворчать, пока не уйдешь из хаты:

— У меня гулянки на уме... гулянки на уме. Засиделись в холостяках. И сын, и батька. А у меня гулянки-хворобянки на уме...

Все это говорится не столько для меня, сколько для отца.

Мое холостяцкое положение бабушка ставит в строку, должно быть, для удобства. Она боится, что мы с отцом наведем вскорости полную хату хозяек: один — невестку, второй — мачеху. Тогда она посмотрит, как они поладят у печи. Вот смеху будет!

Только пусть наши с отцом жены не надеются: она их и к загнетке не подпустит. Сыскались на все готовенькое. Словом, перепадает нам с отцом на баранки, только выслушивай.

А мне некогда долго слушать, нужно скорей бежать на бригадный двор и первому захватить Буянчика, иначе будешь всю ночь у Слепки в поводырях ходить.

Ток расчистили на жнивье за колхозным садом. Сюда навозили громадную, почти с нашу каменную школу, скирду ржи. Рядом с этой соломенной горой молотилка кажется совсем маленькой, незаметной. Это пока она молчит. Но вот выстрелил в ночное небо тугим комком дыма трактор, деловито запыхтел, заворчал; забегал, как шальной, цокая швом по гладким стальным бокам шкивов, широкий кожаный привод; молотилка ожила, заревела, затряслась, как лютый голодный зверь, и теперь все мы, когда нужно что-либо сказать, кричим, будто глухие, и размахиваем руками. Все, как одержимые, хватаются за вилы и грабли, мы с Санькой уже стоим наготове, чтобы вмиг подогнать лошадь, подвести веревку под копну, броситься сверху на душистую теплую



солому и гнать в другой конец тока, где солому подхватят мужские вилы и вскинут на стог.

Над нами в темном ночном небе мигают частые звезды, спит земля, и мне кажется, что мы тут не просто оттаскиваем солому, что все эти люди не просто молотят хлеб — мы укрощаем какое-то невиданное страшилище, разъяренного, прожорливого мамонта. Он не хочет сдаваться, но не сдаются и люди, в его чрево летят все новые и новые снопы, и могучий железный лязг становится глухим, покорным. Пыль мешает дышать, слепит глаза, колючая ость липнет к потной спине, но никто на это не глядит, еще и шутят, еще и смеются. Особенно на подаче снопов, где, зазевавшись, можно запросто заработать тугим комлем по спине или по шее. И тогда слышится веселый смех.

— Бабы, Хадора заснула!

— Поди с хлопцами всю ночь миловалась!

А той Хадоре лет наверное под шестьдесят. Тут тебе и хохот.

А у меня копна рассыпалась. Вместо того, чтобы ехать на соломе, я запутался в веревках и проехался животом по голому току. Снова шуточки:

— Куда ты поехал? Солому забыл.

Главное на молотьебе лицо — подавальщик. Какой подавальщик, такая и работа, такой и умолот. Пустит густо — в соломе много полных колосков; пустит редко — зазря молотилку гоняет. Наш сосед дядька Скок — мастак подавать снопы в барабан: и вымолотит чисто, и отдохнуть никому не даст. Когда он подает, все так и говорят:

— Ну, держись, выжмет пот и из нас, и из молотилки.

И правда, любо поглядеть, как он управляется. Не поворачивая головы, Скок хватает сноп точненько за комель, неуловимым движением расстилает веером колосья, и не успеют они исчезнуть в барабане — у него уже новый сноп.

Барабан ходит ровно, не холостой и не перегруженный; женщинам, что разрезают серпами перевясла, некогда спину разогнуть, и нам с Санькой тоже приходится бегать трушком. А он стоит там, вверху, на дощатом помосте в клубах густой пыли, словно бог на небе среди облаков. И сияние вокруг него

от электрической лампочки-переноски, подвешенной на высокой жерди. Вот только покрикивает он на всех, командует не по-божественному:

— Давай-давай, мой голубь! Не лови ворон, елки-моталки у нашей Наталки!

Хорошо хоть ремень часто рвется. Пока его сшивают, можно, зарывшись в солому, и вздремнуть малость.

Утром, возвращаясь с молотьбы, мы идем с Санькой по улице не торопясь, тихо, спокойно. Если быстро пробежать, то кто же увидит, что ты ночью, когда все спали, молотил? А так женщины, выгоняя коров, поглядят тебе вслед заспанными глазами. Девушка по воду к колодцу выскочит — ты на нее поглядишь, непричесанную, разомлевшую ото сна, как трудящийся человек на дармоеда. Мужчина встретится — поздороваешься, как с ровней, за руку. Нет, торопиться домой с молотьбы никогда не следует, если хочешь, чтобы все знали, откуда ты идешь.

Но молотим мы не каждую ночь. Мы не семижильные, и погулять нам охота вечером, тем более что уже и потанцевать осмеливаемся. Правда, вальсы и польки не шибко у нас выходят, крутимся только в одну сторону. Да не все сразу.

Вот если б набраться духу и проводить кого-нибудь из девчат до дому! Тогда бы Юрка-артиллерист так не драл перед нами нос. И я думаю, что у нас это должно получиться. Не нужно только от самой завалинки, где идут танцы, начинать провожание. Там все увидят, Катя с Сонькой застесняются и убегут. Лучше забежать им наперерез, дожидаться, когда они будут идти домой, выйти неожиданно навстречу и сказать:

— Добрый вечер. Вам в какую сторону? В ту? Значит, по пути.

А потом сделать вид, что нам в самом деле просто по пути и пройтись с ними. Они и не догадаются, что это мы с намерением.

Вот с такой затеей Санька и я сидим в Афонькином переулке под забором. Место для засады выбрали удачное: и мимо не пройдут, и нас с Санькой прежде времени не увидят.

Разве что засели рановато: ждем-ждем, а на селе все еще шумят гулянки. Бухает возле Язепихи бубен, гудит под каблуками мост на шоссе, кое-где слышны девичьи припевки.

В Афонькиной хате тускло светятся окна, и, когда умолкает далекая гармонь, оттуда доносится глухое протяжное пение.

— Все молятся, — кивнул на окна Санька. — Видно, мужнины грехи Афоньчиха замаливает.

Афоньчиха с детьми вернулась в село прошлой осенью. Как уехала со своим криворотым полицейским, так, считай, почти год не была. Семья, занимавшая ее хату, пока не было хозяев, съехала, и Афоньчиха теперь живет на старом месте.

Прежде она соседям рта не давала раскрыть, а теперь стала тихая и такая добрая, хоть к ране приложи. Каждого уважит, каждому уступит.

Спрашивали у нее про Афоньку. Говорят, следователь приезжал, да и бабы иной раз у колодца заведут:

— Что, Настя, не слышать мужика?

— Не слышать, — вздыхает Афоньчиха. — Не слышать. Поди давно его в живых нет...

— А может, в Германии где-нибудь приженился? Молодую нашел.

— Да кто ж его знает, дурака.

А богомолкой Афоньчиха стала такой, что, пожалуй, и Чмышихе за нею не угнаться. Отец говорил: баптистка какая-то. Теперь у нее в хате церковь — не церковь, костел — не костел. Кто его знает, как это у них называется.

С луга потянуло сыростью, на траву легла роса, стало довольно свежо. Так можно и заоченеть, дожидаясь, пока кончатся те танцы. Да, рановато все-таки мы устроили засаду.

Из Афонькиного переулка уже потянулись одна за другой богомолки. Все женщины в годах, молчаливые, понурые, все в черном. Наконец в хате погас свет, и стало совсем тихо. Неподалеку в чьем-то хлеву прокричал спросонья петух.

Санька первый заметил тех, кого мы так долго и терпеливо поджидали. Он вызверился на меня и замахал руками, чтобы я перестал болтать, а то, чего доброго, спугнем.

У меня аж сердце замерло.

Катя и Сонька шли в обнимку и чуть слышно напевали. Пели про Василя, который все сено косил, про вдову, которая умела привораживать, и про мать, не позволявшую вдове брать. Санька вынырнул перед ними так неожиданно, что девчата испуганно взвизгнули на всю улицу и так рванули наутек — на мотоцикле не догонишь. Катина калитка с грохотом захлопнулась у меня под самым носом, чуть лоб не расшиб. Что тут станешь делать? Постоял, послушал, как она торопливо запирает на засов дверь в сенях, вздохнул и подался назад. Санька уже ждал меня под вербами. Проводили называется.

А как ты пойдешь домой, если через два двора Юрка Колдоба сидит на завалинке с нашей Ганкой? Нам известно, что они там каждый вечер сидят. Будешь проходить мимо, а тот падеспанщик и спросит:

— Что вы, хлопцы, так рано? Не везет?

Лучше мы еще здесь посидим какой-нибудь часок, а потом уже — руки в брюки, засвищем и пойдём. Знай, мол, наших. Не лыком шиты, хотя и без блестящих погонов.

А тоска же сидеть просто так. Считаю теперь звезды на небе, бей настырных комаров на собственной шее. Хоть бы подсолнуху, что за Афонькиным забором, голову свернуть, так сидели бы да семечки грызли.

— Давай свернем! — отважился Санька. Он уже встал ногами на лавочку, но тут во дворе кто-то брякнул щеколдой. Не спит еще богомолка, видно, на ночь запирается.

Афонькина хата не на улице, как остальные, а в глубине сада.

К двору ведет узкий, только проехать телеге, переулочек, над которым нависли ветви старых яблонь. Идешь по переулочку, как по темному коридору.

Подкравшись к воротам, мы затаились и стали сквозь щели меж досок вглядываться во двор. Почти рядом послышался хриплый голос. Говоривший, должно быть, сидел на завалинке.

— О-хо-хо, — тяжело вздохнул он. — Сил моих нет, сестра Мавра, нести крест в этой земной юдоли. Сырость, сороконожки бегают.

Мужской голос нам незнаком и словно бы знаком. А женский мы узнали сразу. Так может говорить одна Чмышиха, тягуче, умильно, слова у нее, как патока, — липкие и сладкие.

— Все от бога, брат Евсей, и терпи со смирением, как терпел Христос, без жалоб и упреков. Все праведники были великими мучениками. Писание читай, не поддавайся дьявольскому искушению. Великую надежду на тебя бог возлагает. Сердцем чую — святым угодником будешь.

Мужчина что-то пробубнил, но так тихо, что мы с Санькой ни слова не разобрали. Его ответ почему-то разозлил Чмышиху, она вдруг заговорила сурово и властно:

— Тогда ступай! Поклонись антихристу. Думаешь, он простит тебя? Еще раз говорю: один бог милостивый простит, все в его воле. В молитве и посте ищи спасение. Вот тебе и весь мой сказ. А теперь иди, подышал и иди. Мне тоже пора на покой.

Бежать нам с Санькой было поздно — звякнула щеколда. Пришлось лечь прямо там, где сидели, в крапиву. По тропинке мимо нас прошла Чмышиха, огромная и грузная, как стог.

Переждав, пока на дворе все стихло, мы тоже пошли по домам.

Идем, раздираем в кровь обожженные крапивой руки и ноги и никак в толк взять не можем, что это за брат такой у Чмышихи. Если он в самом деле ей брат, так и жил бы у сестры, а то забился в какую-то не то юдоль, не то юдолю.

И что это за юдоль?

На другой день еще до завтрака, вспомнив ночной разговор у Афоньки во дворе, я, как смола, пристал к бабушке с расспросами про Чмышихино брата.

— Какой брат? — удивилась бабушка. — Нет у нее никакого брата.

— Как нет? — вмешался отец. — А Пилип?

— Тот, что за Сож в примачи ушел? — переспросила бабушка. — Так нет его. От сыпняка в позапрошлом году помер. Сама она говорила.

— А вот у Афоньчихи живет ее брат Евсей, — сказал я.

Отец только рукой махнул:

— Разберешь ты их, святых этих. Все они друг друга братьями и сестрами называют. Мода у них такая.

— А что такое юдоль? — обратился я уже к отцу.

— Юдоль? — задумался он и стал припоминать, что им говорил на этот счет в классе поп. Будто бы то же самое, что и доля, только малость не такая. А мы с Санькой думали, что это подземелье какое-нибудь с сороконожками. Словом, без попа не разберешься. И зачем это мне? Может, я в попы собираюсь после семи классов?

Пришлось рассказать все, что мы с Санькой слышали, сидя в Афонькиной подворотне.

Только, чего нас там черти носили, как говорит бабушка, я утаил. Отец, разглядывавший подошву своего рваного сапога, — куда бы забить еще хоть один гвоздь? — поднял голову.

— Да-а, — заинтересованно протянул он. — Не мешало бы на того «брата» взглянуть.

— Нужен он тебе! — набросилась на него бабушка.

— Мне-то он ни к чему, — ответил отец. — А Колдобе, может, и понадобился бы...

Я просто не знаю, что и думать.

На «брата» Евсея в самом деле стоило поглядеть. Его взяли среди бела дня, в воскресенье, Афоньчиха наделала крику, и к ее хате сбежалось пол-улицы. Мы с Санькой примчались туда, когда Колдоба, теперь уже в милицейской форме, вывел с помощью мужчин «святого» на улицу. Все так и ахнули:

— Афонька!

— Видала «святого»!

Мы его сперва даже не узнали: большущая взлохмаченная борода, на голове лохмы до плеч, и из этой сплошной кудели волос поблескивают испуганные злые глаза.

Любопытные бегали в хату поглядеть, где он прятался. Не обошлось там и без нас. Хата как хата, довольно чистая, опрятная. На стене плакат, написанный цветными карандашами: «Бог есть любовь». А под печью глубокая, как склеп, яма. Стены в яме обложены кирпичом, даже побелены. На дне постель: одеяло и сенник. На одеяле толстая замусоленная книга. Санька сказал, что библия. И сороконожек, на которых «брат» жаловался Чмычихе, в самом деле много. Вот она какая, Афонькина «юдоль». Когда половицами закроешь, сто лет бы не догадался.

Жена Министра узнала в сенях свою супоньку, которой была перевязана кошелка, брошенная в бегстве от упыря.

И загомонила улица:

— Так это он? Упырь?

Когда мы с Санькой выскочили со двора, в переулке творилось что-то невообразимое. Афонька, сплевывая кровь, испуганно жался к забору, его держали за руки двое мужчин, а мой отец пытался вырвать у Министра кол.

— Назар! Назар! — упрашивал он. — Судить будут эту сволочь. Уймись, говорю тебе. Закон без тебя разберется.

Увидав нас, отец крикнул со злостью:

— Марш отсюда! А то по горячему делу и вам перепадет.

Наконец со двора вышел Колдоба, весь в костре и паутине.

Афонька голову вобрал в плечи, когда увидел, что участковый нес в руках.

— Гляди, как упаковал. И смазать не забыл, — показал Максим мужчинам немецкий автомат. — И патрончиков призапас. Под стреху, гад, спрятал.

— Поди он тебя из этого тогда угостил, — сказал кто-то из мужчин.

— Да наверно, — согласился Колдоба.

Когда Афоньку вели в сельсовет, мы старались держаться поближе к дяде Максиму. И правильно сделали: Сонька и Катя видели, как мы вели этого упыря. Жаль, что Колдоба немецкого автомата не дал нам нести — было бы еще лучше.

Бабушка была немало удивлена всеми этими событиями.

— Вот тебе и упырь, — все приговаривает она. — Значит, пока самой не было, по кирпичным заводам слонялся, а пришла сама — прилетела и сова. Это же сколько он просидел под печью? Два года?..

Узнав, что нашлась супонька Министровой жены, она у меня спросила:

— А хренча моего ты там не видел?

И нас провожали с песнями

Приезжий фотограф снял наш класс на память об окончании семилетки.

Целую неделю мы с нетерпением дожидались карточек. Особенно волновались девчата. Но, по секрету сказать, и нам с Санькой не терпелось посмотреть, что мы там за красавцы.

И вот посмотрели.

Лучше всех вышли девчата. У каждой, как это говорится, губки бантиком. Сонька выпустила на лоб симпатичный завиток, у Кати откуда-то родинка на щеке взялась — просто так, не на фотографии, ее среди веснушек и не заметишь. Ганка выставила напоказ руку с сестриными часами. Умеют пустить пыль в глаза.

А хлопцы, хлопцы! Каждый словно аршин проглотил: такие важные, такие строгие. Смык, как сыч, надулся.

Хлопцы стоят, девчата сидят пониже, в центре — учителя, а мы с Санькой лежим голова к голове и своим несерьезным видом сводим на нет торжественность момента. Мы забыли намочить водой чубы, и волосы торчат во все стороны.

Санька, чтобы не расхохотаться, соорудил такую мину, будто зеленую антоновку надкусил, а у меня все зубы блестят на солнце. На нас напал дурной смех. Когда фотограф спрятался под черную материю за аппаратом, мы вспомнили, как наш Глыжка, когда был малыш-малышом, прятался от козы-дерезы под бабушкин фартук.

Одним словом, была бы хорошая фотография, если б не мы с Санькой. Бабушка дома на нее досмотрела и покачала головой:



— Все люди как люди, а вы и тут ветрогоны.

А отец, удовлетворенно хмыкая, долго изучал мое свидетельство. Пусть, пусть читает — там ни одной тройки, кроме как по пению, потому что, когда я запою, кажется, что барана режут. Да ведь мне в певцы не идти.

— Садись, сын, потолкуем, — наконец пригласил меня отец за стол, и по тому, как это было сказано, как нервно барабанили по столу его пальцы, я понял, что разговор будет мужской.

Отец, должно быть, не знал, с чего ему начать разговор, рее вертел в руках бумагу, кашлял в кулак, наконец бросил на меня из-под густых бровей быстрый взгляд и спросил!

— Ну, куда думаешь дальше подаваться?

Куда податься, мы с Санькой уже давно решили. Разумеется, не в восьмой класс. Об этом и говорить нечего.

Плакала из-за войны наша десятилеточка. Когда ее теперь откроют — неизвестно. Да если б и открыли, что толку? Из всего нашего большого села и вдобавок из многих поселков на фотокарточке седьмого класса всего шестнадцать человек. И эти разбегутся кто куда. Некому у нас учиться в восьмом классе, открывай его — не открывай. А в город не набегаешься: ни брюк приличных, ни обуви. Да и не вековать же век на отцовской шее.

— Ты послушай меня, глупого, — снова заговорил отец. — Сам я всего три зимы в церковно-приходскую школу ходил, а на четвертую твой покойный дед меня не пустил. «Хватит, говорит, лапти драть». Тогда время такое было: учишься — не учишься, а если ты от косы, так к косе и вернешься. Теперь, как в песне поется, молодым везде у нас дорога. Только что за дороги после войны, ты сам знаешь. И достаток наш видишь: что у нас, то и на нас. Кабанчика продали, потому как на корову нужно разживаться. Крутись как знаешь... Вот я тебе и советую. Не гоню в шею, а совет даю: иди пока что работать. Заработаешь себе на какой-никакой костюм — мне и то легче. А там гармонь захочешь. Я понимаю, хлопцу нужно. Заработаешь — покупай. А когда в солдаты пойдешь, оно само видно будет... Пойдешь учиться — учишься. Только прямо тебе скажу — помочь не смогу. Мелкий у меня карман. И вон его еще нужно и растить, и учить, — кивнул отец на Глыжку. А потом на бабушку: — И она уже не работник.

— Ты по мне особо не печалься, — отозвалась бабушка от печи. Отец промолчал.

Костюм и гармошка — это очень хорошо. Важной был бы персоной на гулянках у Язепихи. Но мы с Санькой пойдем учиться на офицеров.

— На офицеров? — удивился отец.

— На офицеров.

— Что ж, ладно, — согласился отец. — Только гляди: военная служба — не дружба. Думаешь, нацепил погоны — и ты уже пан-барон? Нет, брат, доведется и с мозолями походить, и потом умыться, и начальству уважить. Одно скажу — будешь человеком. — А потом не то в шутку, не то всерьез попросил:

— Выбьешься в чины, в полковники или в генералы, так не забывай уж и нас, грешных, с бабкой.

— Не бойся, не забуду, — заверил я.

— А-а, — махнул рукой отец, — все так говорят, а потом не успеет иной землю из-под ногтей выковырять, уже отца с матерью не узнает. А соседа и подавно...

«Наше» училище недалеко, в городе, где раньше был сыпно-тифозный госпиталь. И идем мы туда еще не насовсем, а только сдавать экзамены. Потому и проводов особых не было. Может, еще назад прибежим. Бабушка из нового хлеба испекла мне лепешек и завернула в чистую тряпицу. Это на дорогу. Да и там, поди, нас еще особыми лакомствами угощать не будут. Санька набил противогазную сумку яблоками.

И вот мы выходим на улицу. Бабушка у калитки за рукав придержала.

— Не увидимся мы с тобой больше, внучек, — принялась она сморкаться в свой замусоленный фартук. — Помру я нынешним летом, хоть на похороны приезжай...

— Что ты, баб, — удивился я. — Увидимся. Я же только на экзамены. Глядишь, к вечеру дома буду, если не сдам.

— Сдашь, сдашь, — успокоила меня старая. — Ты все сдашь, ты крутомозгий.

— И не умрешь ты вовсе, — перебил я ее.

— А что мне тут больше делать? — спросила бабушка, — Ты на свой хлеб идешь, Гришке я уже тоже не нужна, батька женится не сегодня-завтра. А я... я

все свое на этой земле сделала. Только юбкой еще на смертный час не обзавелась... — и уже не попросила, а строго наказала: — Гляди же, если сразу назад не отпустят, как услышишь про меня, чтоб приехал.

Отец подогнал подводу. Он сегодня снопы в колхозе возит, да кнут дома забыл.

— Ну, садитесь, — пригласил он нас с Санькой, — подвезу до околицы.

А Глыжка без приглашения сел.

— Так гляди же! — крикнула бабушка вслед.

Резво бежит Буянчик, хлещет себя по бокам хвостом, отгоняя оводов. Мягкую, как зола, пыль из-под колес ветер стелет на придорожную траву.

Телегу подбрасывает на выбоинах, и голос отца от этого дрожит.

— Ишь ты его! — подгоняет он Буянчика. — Характер показывает, волчье мясо. Вскребся из чесотки, задрал хвост.

Мне помнится, каким был Буянчик три года назад. Такой уж доходяга, глядеть не на что. А теперь, как говорит отец, вскребся. Добрый конь. Повозили мы с ним, попахали, хотя и не вышло из него скакуна.

Отец не спешит сворачивать, и мы едем той же дорогой, по которой я вез когда-то из больницы дядю Андрея. Вот около этих верб мы тогда с Буянчиком хлебнули горя. Вербы тоже подросли, стали кудрявыми, густыми.

— Так смотрите же там, — наставляет нас с Санькой отец, как сдавать экзамены. — Горячки не порите. Подумай хорошенько, а потом уже рот открывай. И главное — смелее.

За околицей мы повстречали Катю. Она шла из города с кошелкой за плечами. Нынче они купили корову, так, должно быть, носила на базар молоко. Увидав нас, Катя отчего-то растерялась, покраснела, опустила голову и даже глаз не подняла. Так и простояла на обочине, пока мы не проехали.

— Поганых людей встретите — не заводите дружбы. Видите, что на худое дело подбивает, — в сторонку от него, — продолжал наставлять нас отец. — Словом, не будьте тухами-матюхами, а головой подумайте, как жить, чтоб и тебе было хорошо, и товарищу.

Я думаю головой, но не о том, о чем говорит отец, а о Кате.

Так и не проводил ее ни разу домой. Все собирался-собирался, и не получилось. Хотя бы здесь проститься надо было, а то, глядишь, и впрямь назад не приеду. Да как ты простишься, когда отец рядом?

Тайком ото всех я оглянулся. Катя уже на пригорке. Заслонив рукой глаза от солнца, она смотрит нам вслед. Но стоило мне повернуть голову — словно испугалась, подкинула ловчей на плечо кошелку и заторопилась, чуть ли не бегом побежала.

Долго я видел ее белую косынку и линялое платье, которое ей подарили еще в школе.

Если меня примут учиться на офицера, я оттуда ей обязательно напишу. А потом, как Юрка, на каникулы приеду. Тогда уже не побоюсь проводить.

— Ну, бывайте, — сказал наконец отец. — Не сдадите, так не больно горюйте. Возвращайтесь домой. На хлеб заработаем.

Свою ручонку в цыпках, как большой, протянул по очереди нам с Санькой и Глыжка. Долговязый, загорелый, он совсем вырос из штанов. Ему, как и бабушке, должно быть, не верится, что мы еще вернемся, потому он повесил нос и хочет заплакать.

Так и поехал назад с отцом, насупленный и чем-то вроде обиженный. Не горюй, брат, пусть только тебя кто-нибудь пальцем тронет — приду домой в форме, будет он знать!

Наше село осталось за бугром, но еще видны верхушки школьных тополей и старых лип на погосте, где лежит моя мать. Все дальше и дальше пылит подвода.

Вот уже скрылась в несжатой ржи выгоревшая отцовская фуражка. Мы с Санькой разулись, чтоб легче было идти, связав шнурками, перекинули ботинки через плечо и зашагали туда, где виднелась громада элеватора. Придем в училище, там и обуемся.

А вскоре нас провожали снова. Только на этот раз, как и в солдаты, с песнями.